

Библиотека журнала «Голос Эпохи»

Елена Семенова



ЧЕСТЬ – НИКОМУ!

Том III.
ВЕРШИНЫ И ПРОПАСТИ

Елена Семёнова

**Честь – никому! Том 3.
Вершины и пропасти**

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Семёнова Е. В.

Честь – никому! Том 3. Вершины и пропасти / Е. В. Семёнова —
«ЛитРес: Самиздат», 2017

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» - художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход... Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил. На страницах книги читатель встретится, как с реальными историческими деятелями, так и с героями вымышленными, судьбы которых выстраивают сюжетную многолинейность романа. В судьбах героев романа: мальчиков юнкеров и гимназистов, сестёр милосердия, офицеров, профессоров и юристов, солдат и крестьян – нашла отражение вся жизнь русского общества в тот трагический период во всей её многогранности и многострадальности.

Содержание

Глава 1. На Москву!	5
Глава 2. Крушение	19
Глава 3. Девятый день	38
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Глава 1. На Москву!

30 июня – 3 июля 1919 года. Царицын

И во что превратили цветущий волжский город за время лихолетья! Какой только дряни не понабилось в него: батьки и атаманы, шулера и спекулянты, комиссары, матросы и прочая «гордость революции» – вся эта публика месяц за месяцем в эшелонах с награбленным добром тянулась в Царицын со всего Юга России, спасаясь от победоносно наступающей Белой армии и превращая город в центр своей тирании. Похвалялись большевики, что никогда не взять «красного Вердена» Добровольцам. Что ж, и впрямь тугонёк орешек дался. Ещё в Восемнадцатом пытались овладеть им казаки атамана Краснова, но, не поддержанные в ту пору Добровольческой армией, города освободить не сумели. И Кавказская армия немало времени истратила, чтобы крепость эту, укреплённую, с гарнизоном крупным и хорошо вооружённым, одолеть. Сколько славных воинов полегли здесь! В дорогую цену обошёлся «красный Верден»... Но и какая же огромная победа была!

Попутру восемнадцатого стали появляться на улицах люди. Смотрели испуганно, насторожённо прислушивались к доносящемуся с окраин города оружейному гулу. Всё население походило на того тяжело больного, что отнятый от смерти всё ещё не может до конца поверить этому чуду, и оттого радость его ещё робка, к самой себе недоверчива. А катил народ – на Соборную площадь. В храм. День был воскресный, и там служили благодарственный молебен. Прежде торжественные службы совершал здесь епископ Дамиан. Несколько дней назад он, старец, должен был бежать и скрываться, спасаясь от большевистского террора. Вместо него служил настоятель собора, счастливо освобождённый накануне из тюрьмы (около неё, в овраге нашли тысячи тел убитых) армией-победительницей. Прерывался голос седого священника, и струились неудержимо слёзы по впалым его щекам. Плакали и люди, собравшиеся в таком множестве, что запрудили саму площадь, так как в соборе не достало всем места.

– Спаси, Господи, люди твоя! – тысячеголосно, торжественно пели, крестясь истоиво.

Пели, а глазами нет-нет, а косились на высокую, поджарую фигуру в чёрной черкеске с мягкими, блестящими генеральскими погонами. Этот человек, в котором сосредоточилась теперь вера освобождённого им города, стоял среди народа, окружённый немногочисленной свитой, неподвижный, погружённый не то в молитву, не то в свои мысли.

Грохнул разрыв где-то совсем рядом с городом, зачастила громовая перебранка орудий. И замерла на мгновение площадь – струнно нервы натянулись, того гляди оборвутся от напряжения. Но выводил невозмутимый хор:

– И благослови достояние Твое...

И вторили, заглушая канонаду, опускаясь на колени. И вместе со всем народом, как один из тысяч этих людей, стоял на коленях, опустив смиренно обнажённую голову, их освободитель, их герой. И когда служба окончилась, он вышел из храма и с церковного крыльца обратился к собравшимся с короткой приветственной речью, обещая горожанам защиту и покровительство армии.

И прорвалась робевшая дотоле радость. Вся площадь, озарённая ярким июньским солнцем, преобразилась, расцвела во мгновение ока безудержным счастьем. Под звон колоколов люди, забыв все страхи и горести, плакали и смеялись, незнакомые друг другу, обнимались, христосовались, как на Пасху. Грянул торжественный марш, явились откуда-то в количестве удивительном цветы. И это людское море теснилось к автомобилю в котором уже сидел её герой. Лицо его оставалось сдержанным, сосредоточенным. Лишь изредка скользила по губам

едва заметная, какая-то особенная, неповторимая улыбка, и теплом наполнились льдистого цвета глаза...

Прорвавшись из этого восторженного окружения, автомобиль генерала покати к вокзалу, куда вот-вот должен был прибыть Главнокомандующий. Пётр Николаевич предчувствовал непростой разговор. Простых уже давным-давно с Деникиным не бывало. Натянулись отношения – и чем дальше, тем хуже. Посматривал Врангель на царицынские улицы, носившие на себе приметный отпечаток пережитого. А ведь как давно уже надо было город этот взять! Ещё в начале года, по освобождению Северного Кавказа горячая выдалась полемика с Деникиным. По плану Антона Ивановича освободившиеся части Кавказской армии должны были отправиться на подмогу Май-Маевскому в Каменноугольный бассейн – на харьковское направление. На Царицынском же оставить лишь слабый заслон по линии Маньча. Нелепица явная! Очевидно представлялось Петру Николаевичу Царицынское направление главнее харьковского. Именно на этом направлении – ключ к Волге! К Волге, к которой с другой стороны победоносно наступают армии адмирала Колчака, задерживаемые, между прочим, угрозой удара с левого фланга. Соединение двух армий и дальнейшее продвижение единым фронтом – какая цель может быть важнее? Нет, оказалось, Каменноугольный бассейн важнее единства сил. Доказывал Романовский, что оный жизненно необходим, что направление харьковское – кратчайшее к Москве, а потому должно считаться главным. И разбивались горячие доводы Врангеля и верного его начштаба Юзефовича, как об стену. И не удалось убедить ни в чём. Так и двинулись – на харьковское...

А война жестчала. Много повидал Пётр Николаевич и в Японскую, и в Германскую, а зрелище этой, усобной – в ужас приводило. Сатанел народ. Даже дети. Ещё на Тереке встретил барон нескольких нарядно одетых казачат с винтовками. Лет по двенадцать, не больше.

– Куда идёте, хлопцы?

– Большевиков идём бить, тут много их по камышу попрыгалось, як их армия бежала. Я вчера семерых убил!

И кровь похолодела от вида этой победительной, горделивой радости от убийства в детских глазах...

Отступавшие большевики оставляли после себя разорённые города и деревни. На станциях, на путях железнодорожных скопились забитые больными и мёртвецами поезда. Они лежали на полу, едва прикрытые, прижавшись друг к другу подчас – несколько мертвецов очеченевших, а среди них ещё живой обречённый... И вокруг поездов, в дорожной грязи – как рассыпаны – тела людей. Солдат, женщин, детей... Скрюченных, обезображенных... Это свирепствовал тиф. Мёртвых спешно собирали, зарывали в общую могилу, а болезнь перекидывалась на других и косила людей страшнее вражеского огня.

Вскоре слёг и сам Врангель. На пятнадцатый день врачи признали положение практически безнадежным. Жена, ни на шаг не отходившая, пригласила священника. Тот явился, доставив в дом Чудотворную икону Божией матери. И вот, чудо – столько дней в беспмятстве лежавший, генерал пришёл в себя, исповедался и причастился в полном сознании, а затем впал в беспмятство вновь. Ждали смерти ежечасно. Но... Охранил Бог и в этот раз, отвёл костлявую... И трогательно заботливы были все в те дни: даже незнакомые люди справлялись о здоровье, присылали фрукты и вино, выражали готовность помочь, врачи отказывались от вознаграждения. Сердечное письмо пришло от Главнокомандующего, распорядившегося, зная стеснённость Петра Николаевича в средствах, покрыть расходы на лечение из казённых денег.

Болезнь надолго выбила Врангеля из строя. Война набирала обороты, а он вынужден был лишь наблюдать за событиями, с большим трудом восстанавливая силы. Юзефович, между тем, вновь взывал к Ставке, доказывая необходимость движения на Царицын. А дела начинали портиться... И всё явственнее виделось, что потеряли драгоценное время, волжское направление забросив. Уже войска Колчака подходили к Волге. И начни Кавказская армия двигаться

в нужном направлении ещё зимой, так уж и соединились бы вот-вот! А вместо этого четыре месяца стояли на месте. У Маныча. Вели там бои с переменным успехом... Необходимость соединения с Колчаком очевидна была даже для лиц невоенных. Навещавший часто Врангеля во время болезни Кривошеин, человек недюжинного ума и зоркости, сокрушался, понимая ошибочность избранной стратегии. А командование – не понимало... Загадка! И едва оправившись от болезни, в первую же встречу свою с Деникиным вновь поставил Пётр Николаевич вопрос о Царицыне, представив свой план действий. И опять молчали, уклонялись от ответа, тянули. И сколько бы тянули ещё, если бы противник сам не вынудил к решительным действиям!

В апреле красные обрушились на державших Манычский фронт донцов и, отбросив их, стали быстро продвигаться к Владикавказской железной дороге. Казаки были деморализованы и отступали без сопротивления. Кавказская армия оказалась под угрозой быть отрезанной от основных сил. Спасать положение пригласили Врангеля. Предложил Романовский принять командование Манычского фронта и осуществить намеченные Ставкой меры. Меры эти счёл Пётр Николаевич крайне неудачными и немедленно представил свой план действий, согласившись принять должность лишь при условии следования именно этому плану. Романовский отказал. Присовокупил, ещё надеясь переубедить:

– Вы понимаете, Пётр Николаевич, что ваш отказ поставит Главнокомандующего в необходимость самому принять на себя непосредственно руководство Манычской операцией?

– Своего решения я не изменю, – ответил Врангель. – Я не могу братья за дело, которое считаю для себя в настоящих условиях непосильным. Главнокомандующий, имеющий полную мощь, в случае если он лично станет во главе операции, будет иметь возможность принять все меры для того, чтобы обеспечить успех операции; и я не сомневаюсь, что он убедится в необходимости тех мер, что я предлагаю.

С тем, преодолевая приступы жара и боль в ногах, вопреки настояниям врачей, Пётр Николаевич спешно уехал в свою армию.

К концу апреля предсказание Врангеля сбылось. Деникин взял командование на себя, но результатов это не дало. Белым не удавалось форсировать реку, и войска несли большие потери. Между тем, случилось, что именно здесь сосредоточились почти все кубанские части (масса конницы, о создании которой ещё в минувшем году говорил Врангель!), что позволяло объединить их в Кубанскую армию, о которой кубанцы столько мечтали. Пётр Николаевич всегда считал, что, учитывая наличие своей армии у донцов, кубанцы также вправе иметь свою, и сочтено было, что он наиболее подходящая фигура для объединения кубанских полководцев. Впрочем, Кубанской новоформируемая армия так и не стала. Она получила наименование Кавказской Добровольческой. Вот когда началось долгожданное наступление на Волгу, осуществление врангелевского плана!

Перво-наперво надлежало форсировать реку Маныч и взять находившуюся на другом берегу станицу Великокняжескую. Пётр Николаевич объехал передовую, разговаривая с солдатами и ободряя их (при этом один из сопровождавших его адъютантов был убит, другой – ранен). После, собрав командиров соединений, изложил им свой план действий: из разобранных изгородей, окружавших казацки дома, сделать гать, и по ней переправить на противоположный берег артиллерию. Рискованное было предприятие, но – увенчалось успехом.

Сражение же на Маныче – из крупнейших конных выдалось! Славную страницу вписала Кавказская Добровольческая в историю белой борьбы. Несколько дней длилась битва. Генерал Улагай наголову разгромил кавалерийский корпус красного командира Думенко. Полки белых несли тяжёлые потери. Был момент, когда возникла угроза отступления на одном из направлений, и тогда Врангель отдал приказ своему конвою на месте расстреливать дезертиров и паникёров. И сам вёл свои войска на штурм, лично объезжая полки и подавая пример мужества и воли к победе, и уверенности в ней. Знал генерал, как воздействует на бойцов

личный пример командира, а за свою жизнь не страшился. Совсем недавно ещё раз охранил его Бог – через несколько минут по прохождении его поезда на железной дороге произошёл взрыв, и ясно было, что именно поезд-то и был целью, и лишь чудом прошёл он мгновениями считанными раньше...

Многие командиры, следуя примеру Врангеля, сами вели свои соединения в бой, идя впереди их. Среди них велики оказались потери. Но разбили красных наголову, и Великокняжескую освободили. И открыли путь к Царицыну и Волге. И отдан, наконец, был приказ Царицын взять. И прибывший Деникин спрашивал:

– Ну как, через сколько времени поднесёте нам Царицын?

– Три недели, – ответил Пётр Николаевич, прибавив, что взятие города штурмом возможно лишь при необходимом количестве пехоты и артиллерии.

– Конечно, конечно, всё, что возможно, вам пошлём, – пообещал Деникин.

Легко давались обещания, да если б исполнялись ещё в точности... Но этого не было, и пора б привыкнуть к тому, а не привыкалось. Вот и на этот раз не исполнили обещания в полной мере. А почему? До всё потому же! Потому что не понимали важности направления! Царицынское и подождать могло, когда Добровольческая армия успешно развивала наступление на Харьковском направлении, кое Деникин считал главным. Именно туда отправлялось «всё, что возможно», а к нуждам Кавказской армии командование относилось без должного внимания.

От Великокняжеской до Царицына тянулась безводная и безлюдная степь. Отступавшие красные взорвали все мосты. Ох и пригодилось здесь Петру Николаевичу его инженерное образование! Самолично и руководил ремонтом. А войска опять буквально в бедственном положении находились: не хватало провизии, воды, одежды, медикаментов... И когда-то с этой нищетой покончено будет? Люди были измучены, но Ставка не присылала пополнения, направляя его Добровольческой армии. Не было техники: даже автомобиль Врангеля, не имевший запасных покрышек, взамен коих наматывались на обода тряпки и трава, наконец, сломался. На запрос о присылке нового Ставка отвечала гробовым молчанием.

Две недели шли по безводной степи и предстояло брать город укрепленный, оснащенный техникой и артиллерией, куда конницы Будённого и Жлобы стянули для отражения атаки. Бомбардировал Врангель Ставку требованиями прислать помощь: «То, что достигнуто, сделано ценой большой крови и в дальнейшем источник её иссякнет. Нельзя рассчитывать на безграмотность противника и пренебрежение им значения Царицына. Царицын мы должны взять, но, взяв, иметь средства удержать». Не слышали... На бесчисленные запросы Ставка пообещала, наконец, прислать танки и стрелковый полк. Но они не могли прийти ранее, чем через две недели, а за этот срок красные неминуемо нарастили бы свои силы. Стоять в ожидании было смерти подобно, поэтому пришлось начать штурм, не дожидаясь подкреплений. Все атаки разбились о технику, огонь и подавляющее число противника. Потери были огромны. Численность некоторых полков дошла до сотни человек, многие командиры погибли.

Тяжело переживал Пётр Николаевич эту неудачу. А тут ещё навалилась болезнь. Но продолжал писать Главнокомандующему. Уже и не без резкости, срываясь. Отправил Деникину рапорт, в котором сообщал об огромных понесённых потерях и вновь повторил, что «без артиллерии, пехоты и технического снаряжения город штурмовать нельзя». Доведённый до предела, генерал решил подать рапорт об отставке после завершения Царицынской операции. Однако Юзефович и другие офицеры штаба отговорили его от этого шага.

Между тем, Ставка, наконец, вспомнила о своих обещаниях и отправила-таки на подмогу Кавказской седьмую пехотную дивизию. Вот уж права пословица: пока гром не грянет... А из-за этой бестолковицы сколько людей положили напрасно!

По прибытии подкреплений стали готовить второй штурм. А тут ещё незадача возникла: совсем разладился от неудач генерал Улагай, на которого предполагалось возложить ключе-

вое направление операции. Своих подчинённых Пётр Николаевич знал очень хорошо. Знал, в частности, об Улагае, что склонен он к сильным перепадам настроения, и видел что, впад в депрессию от того несчастного штурма, к новому неспособен. Всего легче было бы произвести замену, просто принять командование на себя, но такое решение окончательно деморализовало бы впечатлительного Улагая, а этого никак нельзя было допустить. Наоборот, следовало подкрепить его, вернуть былую уверенность. И, подумав, нашёл Пётр Николаевич выход, пояснил недоумевающему Шатилову:

– Секрет успеха в гражданской войне кроется в верном подборе командира предстоящей операцией. Ещё в бытность командиром первой кавалерийской дивизии я без колебаний перетасовывал бригады. Если требовалось упорство, я назначал Топоркова, если маневренность и гибкость, – Науменко. Таким образом, командовать ударной кавалерийской группировкой будешь ты, я буду осуществлять общее руководство, а Улагай будет пожинать лавры, так необходимые для его самолюбия.

Так и сделано было. И – не устоял на этот раз «Красный Верден». И накануне вошли в город доблестные бойцы Кавказской Добровольческой армии, сорок дней совершавшие тяжелейшие переходы и ведшие кровопролитные бои. «Ура вам, храбрецы, непобедимые орлы Кавказской армии! Слава о новых подвигах ваших пронесётся как гром, и весть о ваших победах в родных станицах, селах и аулах заставит гордостью забиться сердца ваших отцов, жён и сыновей».

И одно только тревожило в этот по истине счастливый день. Не опоздали ли?.. Ведь уже – середина июня. И на фронте адмирала Колчака не так благополучно, как было несколько месяцев назад. Ах, если б тогда к Волге выйти!.. Но нет, не поздно и теперь ещё энергичные действия предпринять в нужном направлении. Продолжать начатое, двигаться на соединение с Колчаком, а затем кулаком единым – на Москву. Лишь бы Главнокомандующего убедить в этом! Вместе с генералом Юзефовичем успели подготовить доклад к его приезду. Наместили: овладение Астраханью и нижним плесом Волги, закрепление на коротком, но обеспеченном фронте (Царицын-Екатеринослав), дабы не растягивать опасно фронт, не имея резервов и укреплений в тылу, в районе Харькова выставить заслон из трёх-четырёх конных корпусов, организация тыла и устройство укрепленных узлов сопротивления на случай наступления красных, далее – наступление на Москву по кратчайшим направлениям конной массой, нанося удары в тыл красным армиям.

Генерал Деникин принял Врангеля и Юзефовича в своём вагоне.

– Ну что, как теперь настроение? Одно время было, кажется, неважным? – спросил, улыбаясь.

– Так точно, ваше превосходительство. Нам было очень тяжело.

– Ничего, ничего, теперь отдохнёте, – пообещал Главнокомандующий.

Изложили ему план действий, подали рапорты. Казалось бы, куда убедительнее? Куда яснее? А Антон Иванович, рапорты принимая, усмехнулся лишь:

– Ну, конечно, первыми хотите попасть в Москву.

Как хлестнул недостойным намёком этим. Сдержался Пётр Николаевич, пропустил мимо ушей, а сам тотчас вспомнил Кривошеина. Как силясь понять странные решения Ставки, предполагал проницательный Александр Васильевич причиной всему личные мотивы Главнокомандующего. Не верил тогда Врангель этому и горячо спорил с Кривошеиным, в выводах своих вполне убеждённым, а сейчас впервые усомнился – уж не прав ли был Александр Васильевич?.. И ведь сколько добивался барон разъяснений у Романовского, а тот всякий раз со свойственным ему умением обходил все вопросы, не давал ответов.

Портрет генерала Деникина в достаточной мере сложился у Петра Николаевича ещё задолго до этого дня. По виду своему, бесцветному и обыденному, походил Антон Иванович на среднего обывателя. До своего высокого положения в армейской иерархии дошёл он исключи-

тельно благодаря личному трудолюбию и способностям. Его отец, николаевский солдат, четверть века тянувший ляжку, и вышедший в отставку в офицерском чине, лишь после шестидесяти лет обзавёлся семьёй и умер, когда сын был ещё ребёнком. Отроческие годы Деникина прошли в Польше, откуда родом была его мать. Жили практически бедственно. Из таких-то низов поднимался будущий вождь Белой армии. Характерные черты своей среды, провинциальной, мелкобуржуазной, либеральной, он сохранил до сих пор. Трудно было торить себе путь молодому офицеру. И как было не позавидовать гвардейским офицерам, аристократам, с молодых ногтей имевшим всё, с такой лёгкостью поднимавшимся, никогда не ведавшим нужды? Это смутное чувство ущемлённости, видимо, так и не удалось преодолеть ему. Отсюда повышенная, почти болезненная щепетильность, стремление оградить от любых посягательств своё достоинство. Он даже на «ты» не переходил ни с кем, включая близких друзей, держал дистанцию, отгораживался. Защищать себя умел Антон Иванович, ещё будучи молодым офицером. По окончании Академии Генштаба он не получил места, которое было ему положено. Кто-то наверху провёл на него своего человека. Любой другой смирился бы, а Деникин дошёл до самого Государя с требованием справедливости. Он рано начал писать и публиковаться в журналах, притом сохраняя свободомыслие. Как военачальник, отметился в обе войны многими славными делами. И словом владел Антон Иванович, но отчего-то словом этим не умел достучаться до солдат, овладеть сердцами людей. Но, главное, оставался в глубине души всё тем же молодым офицером, выходцем из низов, ревниво смотрящим на знать. И угадывал Пётр Николаевич, что и гвардейский лоск его, и титул, и громкая фамилия, инстинктивно не по нутру Деникину. И дело здесь было не в какой-то обоснованной неприязни, а в невольном, подсознательном, трудной жизнью заложенном предубеждении, которое преодолеть всего труднее. И подчас возникала даже мысль: не вредит ли предубеждённость в отношении лично него его армии? В какой-либо личной непорядочности доселе не мог заподозрить Врангель Главнокомандующего. И не сомневался в патриотизме его и желании блага. Но не мог и не видеть: не по способностям достался груз Антону Ивановичу. Не был создан он для государственной работы. И терялся, и боялся ошибиться, и сомневался, и не доверял почти никому. А болезненную щепетильность его и подозрительность, и самолюбие использовали в своих целях различные тёмные личности, гнездившиеся, в частности, в Осваге. Наушничали, нашёптывали, передавали сплетни, растравливали. И чувствовал Врангель, что кто-то не без успеха и о нём передаёт разное Главнокомандующему, искажая слова и действия его, укрепляя подозрительность. Когда бы окружил себя Деникин толковыми помощниками! Так нет же. Вот, того же и Кривошеина, с его-то умом и опытом – почему к делу не призвать? Но нет, слишком сильная и крупная фигура была, слишком самостоятельная. А самостоятельности не любил Антон Иванович. И нетерпимостью этой многих отваживал. Взять хотя бы казаков и украинцев. Зачем такая непримиримость в борьбе с самостийными течениями? Зачем записывать в самостийники всех подряд? На офицеров, сражавшихся с большевиками при гетмане на Украине, смотрели в Ставке, словно на предателей, создали комиссию для унижительной проверки их. Справедливо ли? Незаслуженно обижали людей, самих себя лишали необходимой поддержки. Да пусть бы были самостийники, лишь бы сражались честно с общим врагом! Под каким угодно флагом, но – за Россию! Лучше бы с такой непримиримостью относился Главнокомандующий к творимым в тылу бесчинствам, тон которым задавали иные старшие начальники. Вот, они-то, наносящие своим поведением громадный вред делу, как будто и вовсе независимы были. Смотрела на их безобразия Ставка сквозь пальцы. Когда в апреле встал вопрос о формировании Кубанской армии, спросил Пётр Николаевич у Деникина, кто же до сих пор командовал главной массой конницы? Оказалось, что отдельные командиры подчинены были непосредственно самому Главнокомандующему.

– Но какое же в таком случае можно ожидать единство действий? – удивился Врангель.

– А как вы заставите генерала Покровского или генерала Шатилова подчиниться одного другому?

И откуда взяться дисциплине, если Главнокомандующий не может призвать к порядку своих генералов? В самом Екатеринодаре происходил безобразный разгул Шкуро, Покровского и других. А Деникин, столь строгий к себе, не имел воли требовать того же от подчинённых, словно не замечал происходящего. Нет, как ни старался, не мог Пётр Николаевич, постигнуть до конца логики действий Главнокомандующего. И теперь уходил от него с недобрым предчувствием, что напрасны окажутся их с Юзефовичем рапорты, и Ставка вновь примет какое-то лишь ей понятное решение...

Это подозрение оправдалось на другой день, превзойдя худшие ожидания. Генерал Деникин обнародовал свою директиву. Ровным голосом, заметно гордясь составленным планом, он читал:

– Вооружённые Силы Юга России, разбив армии противника, овладели Царицыном, очистили Донскую область, Крым и значительную часть губерний Воронежской, Екатеринославской и Харьковской. Имея конечной целью захват сердца России – Москвы, приказываю...

Воодушевлённо звучал голос Главнокомандующего, а у Врангеля с каждым оглашаемым пунктом сердце падало, и кровь учащённо стучала в висках. Слушал, остолбенев, не веря своим ушам. Бросил быстрый взгляд на Юзефовича, и на его смуглом лице прочёл ту же мысль, ту же ошеломлённость. Отвёл глаза верный соратник, уставил их неподвижно в ровное покрытие стола, голову пригнул, хмурился. А Антон Иванович продолжал читать, словно гвозди в гроб всего дела вколачивал. И рядом Романовский сидел. Но по его лицу, как всегда, ничего не разобрать. А, впрочем, что разбирать? Вместе и составляли убийственный этот план... Да как же могли? Ведь оба же – в военном деле специалисты! Да как же они, два генерала боевых, две войны прошедших с честью, могли все принципы стратегии отвергнуть?! Ни главного операционного направления, ни сосредоточения на этом направлении главной массы сил, ни манёвра! Просто указали каждому корпусу маршрут – на Москву! Раздирали фронт, растягивали до бесконечности на тысячи вёрст. В цепь тончайшую, которую клином мощным прорвать – чего проще? А если прорвут... Перебьют по одиночке. И в тылу – ни узла укреплённого, зацепиться не за что будет. А зато развал, никакой организации, зарвались вперёд, территории заняли, а порядком на них не озаботились. Если прорвут, так весь этот замок на песке рухнет, не удержится... А они слепы ли были?! Этот смертный приговор армиям Юга подписывая?!

– Да, вот как мы стали шагать! Для этой директивы мне пришлось взять стовёрстную карту, – довольно объявил Деникин.

Даже в груди затеснило от волнения – контузия старая напомнила о себе. Молчал, стараясь с чувствами справиться. Что тут сделаешь? Высказать напрямик? Спорить? Доказывать? Да уж сколько раз схлёстывались. А сейчас, в эйфории этой, в момент торжества самолюбивого – да ничем не прошибёшь! Теперь лишь на чудо надеяться остаётся, а чудеса долго ли Господь Бог посылать будет? Отбросил мысли о судьбе движения в целом, сосредоточился над операционной задачей, его армии поставленной. «Отдохнёте теперь»... Вот и «отдохнули», кажется. Выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях донские части, продолжить наступление на Пензу, Нижний, Москву... А прежде – Камышин взять. Это уже теперь, выходит.

– Ваше превосходительство, мои части окончательно истомлены после трёхсотвёрстного похода и сорокадневных боёв и должны хоть немного отдохнуть.

– Конечно, ведь до выхода донцов к Камышину в вашем распоряжении будет, вероятно, недели две. Вам только следует не задерживать переправы тех частей, которые вы пошлёте на левый берег, – кивнул Антон Иванович и тотчас распорядился о переброске в Добровольческую армию ряда частей, взамен которых Кавказской обещана была 2-я Кубанская бригада. И ещё раз добавил с гордостью: – Сегодня мною отдан приказ армиям идти на Москву!

Вышли от Главнокомандующего, как убитые. И ни слова не сказал Юзефович, вздохнул лишь утруждённо. И Врангель ничего не сказал ему. И нечего, по существу, говорить было, слишком ясно всё, и слишком трудно высказать...

Уехал Деникин в тот же день, и надо было теперь, ни секундой не медля, срочно браться за дела. В городе порядок наводить, укреплять его, сколь возможно. И одновременно же – новое наступление готовить. На Камышин. И дух перевести некогда.

Штаб Врангеля разместился в маленьком сером флигельке. Три оконца, георгиевский флажок при входе и парные часовые из кубанцев. В это скромное обиталище, где Пётр Николаевич и поселился, люди шли нескончаемым потоком. Каждый со своей болью. Со своим делом. С просьбой. А кто и просто – поблагодарить, почтение засвидетельствовать. И для каждого требовалось слово найти, а если дело важное, то распорядиться, помочь. Офицеров в штабе немного было, не раздувал его Врангель. Обходились малыми силами. Как в горячке сутки прочь пролетели. Сколько людей прошло мимо? Сколько судеб? Особенно старик-генерал Эйхгольц, служивший в молодости ординарцем при Скобелеве, запомнился. Трое сыновей его сражались на фронте, и двое уже погибли. Ограбленный большевиками до нитки, он сохранил оберегаемый, как святыню, академический знак Скобелева, завещанный ему давным-давно.

– Я хотел бы, чтобы этот знак украшал грудь достойную. Прошу вас не отказаться принять.

От какой-либо помощи отказался благородный старец, сославшись на то, что зарабатывает себе на пропитание частными уроками...

Тёк народ неиссякаемым ручьём. Какая-то дама требовала дать ей развод... Насилу выпроводили. Наконец, закончилось приёмное время. Отдав ряд распоряжений подчинённым, Пётр Николаевич опустил на маленький диванчик и устремил взгляд на висевшую на противоположной стене большую карту с обозначением фронтов. Свой фронт знал генерал назубок, с закрытыми глазами мог указать, какой пункт где расположен. И теперь в неуютчивом мозгу являлись всё новые схемы предстоящих операций. Пространство для манёвра было, но маневрировать – с чем? Столько людей потеряли под Царицыным, что армию по численности можно в корпус свести, а ряд полков расформировать за малочисленностью. Обещаниям Ставки, уже обжегшись не раз, не доверял. Подумал и написал Романовскому ещё. Вдогонку. О том, что людей мало, и даже те, что есть, истомлены крайне, и со снабжением – худо. Свежие силы, как воздух, нужны. А без них... Без них ещё возможно взять Камышин. Но удержать его нельзя будет. Закопаемся.

Приглушённый закатный свет окрасил небольшую комнату. Пётр Николаевич подошёл к окну, поглядел на узкую улочку, постепенно безлюдешую. Весь день он посматривал на неё, на людей, снующих по ней. Как-то успокаивающе действовало.

– Разрешите войти, ваше превосходительство?

Это капитан Вигель порог переступил, шаркнул неуклюже изношенным сапогом. Артиллерийская бригада его наряду с некоторыми другими частями покидала Кавказскую армию и отправлялась завтра на фронт Добровольческой. И зашёл капитан проститься. Жаль было отпускать способного офицера. Успел его хорошо узнать генерал и ценил. Не за то, что тот приходился родней старому товарищу, а за личную доблесть и умелость.

– Входите, конечно, Николай Петрович. Садитесь, – длинной ладонью на кресло указал, а сам переместился за длинный письменный стол, аккуратно добрую половину комнаты занимавший. – Что же, покидаете нас? Не сожалеете?

– Как сказать. С одной стороны, с Кавказской армией я сроднился, и оставлять её мне жаль. А с другой, полк мой – там. И я бы хотел быть со своим полком. И к тому же... – так и расцвело молодое лицо. – На Москву идём!..

Так и есть. Слепила всех Москва сиянием куполов своих. Ни о чём другом никто и думать не может. На Москву, на Москву! А у армии уже резервов не осталось. И лучших офицеров, из которых Добровольческая армия почти целиком состояла, выбило большей частью. И места их пленные занимают. Далеко ли уйдём? Но не поделился Врангель тревожными мыслями с капитаном. К чему? Только настрой боевой ломать офицеру. Омрачать радость его. Просто и жаль по-человечески было.

А от приметливого взгляда Вигеля не укрылось, что Пётр Николаевич как будто и не очень разделяет радостного общего настроения. Но не спросил ни о чём. Не хотелось. Кавказскую армию искренне жаль было оставлять Николаю. Столько месяцев пройдено с ней! Столько вёрст! Столько побед одержано! Да и генерала Врангеля высоко чтит капитан. Вспомнилось, как приехал он в апреле в армию, ещё не оправившийся до конца от тифа. Ещё более исхудалый, чем обычно, и на лице высохшем ещё крупнее казались глаза, светло-светящиеся. И сразу в работу погрузился, и сразу на коня, и на передовую. И с такой быстротой всё делал он, что иногда возникало чувство, будто бы разом в нескольких местах генерал находится. А во время похода был – как простой солдат. На голой земле спал, подложив под голову седло и буркой укрывшись. Врангель и прежде любим был в армии, а за время царицынской эпопеи так и вовсе обожаем стал. Уже офицеры с гордостью говорили:

– Мы – Врангелевцы!

И многие на рукавах букву «В» рисовали. Вигель не рисовал, оставаясь Корниловцем. Но не понял, отчего такое вполне традиционное для Белой армии течение вызвало такое волнение в Ставке. Так вознегодовали там, что потребовали в приказном порядке букву «В» стереть. И что взревновали? Даже глупо как-то. Неприятно это было Николаю. Своего добровольческого вождя, генерала Деникина, он искренне уважал, и как военачальника, и как правую руку Корнилова, связующее звено с покойным Вождём. И тем обиднее было, что подрывался авторитет его неумными действиями. А буква «В» на рукавах осталась. Химический карандаш крепче приказа – попробуй ототри. Позубоскалил кто-то: «Пускай обмундирование новое шлют, если им так буква мешает».

А при всём при том радостно на сердце было. Даже усталость от похода и боёв тяжелейших не ощущалась – такой подъём охватил. Давно такого не было! Да и как мог не радоваться Вигель? С дивной скоростью маршировала армия, освобождая область за областью. Всё ближе Москва виднелась. Москва! – оглушающее слово! Так стосковался Николай по родному городу. Сколько лет, почитай, дома не был? Не москвич не мог так радоваться приказу «на Москву». Для других Москва – цель политическая. А для москвича в приказе этом одно слово слышалось – «домой!» С такой яркостью каждая улочка припомнилась. И родной дом. И все близкие, оставленные там (что-то с ними?). На Москву! – этот приказ казался чем-то прекрасным, чем-то само собой разумеющимся. Куда ж ещё? Только туда. И скорее. Пока порыв горяч, пока фортуна нам улыбается – рывком! Так хорошо было Вигелю, точно колокола московские в сердце переливались.

Но и других причин для радости не меньше было. А, пожалуй, и – больше? Ещё в январе истреженный за Наташу, хоть и совестясь, а попросил об отпуске. На фронте спокойно было, а Вигель немало отличий в боях имел: не отказали ему. Поехал. Полетел, сломя голову, лишь бранясь сквозь зубы, что поезд медленно идёт. За время пути всё самое страшное перебрал в изнервлённом сознании. Едва прибыл в Ростов, прямо с вокзала бросился к Наташе. Отпер дверь (ключи ему она дала), переступил порог и вздохнул облегчённо. Прибрано всё, светло, даже как будто кофе пахнет. Стало быть, жива-здорова. Перекрестился мысленно, обругав себя дураком и паникёром – напридумывал себе разного, словно институтка. Стыдно вспомнить. С фронта сорвался... И сразу вслед – а и хорошо, что сорвался. Тревога тревогой, а не только она влекла его. А ещё хотелось просто с Наташей побыть. Обнять её, запах волос её вдыхать, целовать. Да просто тепла женского хотелось одичавшему в бесконечных боях и походах капитану.

Не успел фуражки и шинели снять, как из гостиной голос Наташин услышал. Негромкий, трепетный. А в ответ... И замер, ушам не поверив... Метнулся, как был – шинель на одном плече, снята наполовину – в комнату. А там, как ни в чём не бывало, сидя за столиком, пили кофе Наташа (на коленях у неё кот невероятно пушистый дремал, и нервная рука её в его шерсти тонула) и... отец!

Отца не видел Вигель больше года. Отметил с радостью, что тот всё так же прям и собран. Лишь усох больше прежнего, и лицо осунулось несколько. Но держался бодро. Только не сдержал слёз, когда сына увидел. Да Николай не менее взволнован был. А про Наташу – и говорить нечего! Вопросы один через другой перескакивали, очередность путая. Как здесь? А Москва что? А... Оказалось, арестован был, жив чудом остался. А из Москвы пришлось бежать. Спасибо князю Долгорукову – помог. Но здесь-то как? У Наташи?.. Стал отец рассказывать обстоятельно. Едва оказавшись на Юге, стал он наводить справки о судьбе сына. Узнал, что жив тот, сражается на фронте. С бывшими сослуживцами (кто в отпуску был, кто по ранению) повидался. От кого-то услышал о Наташе. Потом и саму её отыскал.

– Да и как не найти было бы? Всё-таки профессия моя. Позор седидам был бы – не найти, – улыбался Пётр Андреевич.

Наталья Фёдоровна тактично оставила их, чтобы не стеснять разговора своим присутствием. Это кстати было. О ней-то при ней не поговоришь. А очень хотелось Николаю узнать, что-то отец о ней скажет? И самому рассказать... Оказалось, что Пётр Андреевич о многом догадался и без рассказов. Не изменяла старику профессиональная закалка. Да и сына своего знал достаточно.

– Ты жениться на ней собираешься? – спросил без обиняков, в лоб, пытливых глаз не сводя.

От самого себя вопрос этот Вигель гнал, а теперь нужно было отвечать. И отцу, и себе.

– Если жив останусь, да, – неожиданно легко ответил и почувствовал облегчённость: значит, верно решил, так и быть тому. Ждал, что отец скажет на это. Но тот молчал, поглаживал жилистой ладонью бороду.

– Почему ты молчишь? Ты против?

– Нет, – Пётр Андреевич качнул головой. – По-иному всё равно быть не может.

Теперь уже Николай примолк, не находя, что ответить. А отец продолжал:

– Наталья Фёдоровна нездорова. Ты знаешь, в каком положении я её застал? Нервы её были расшатаны совершенно... У меня даже были опасения... – он не договорил, заложил душку очков в угол рта. – Обошлось, слава Богу. Эта женщина не может находиться одна. Кто-то должен рядом с ней быть.

– Я знаю это, отец. Я поэтому и приехал, сорвавшись с фронта.

– И очень хорошо сделал. Пока ты можешь не беспокоиться о ней. Мы с Натальей Фёдоровной успели найти общий язык, и я теперь живу у неё.

– Я очень рад этому, – искренне сказал Вигель.

– Скажи честно, как ты к ней относишься? Только жалеешь? Или всё же любишь?

– Не знаю, отец. Но не всё ли равно теперь? Ты сам сказал, что оставить эту женщину я не имею права. Она не перенесёт.

– Да, не перенесёт... Если бы закончилась эта кутерьма, и удалось бы перевезти её в какое-нибудь тихое место, то здоровье её могло бы поправиться. Ты хорошо знал её мужа?

– Мы были недолго знакомы. Это был очень достойный человек. И Наталья Фёдоровна до сих пор его любит, я знаю.

– Хорошо, что ты это понимаешь.

– Не знаю, насколько хорошо понимать, что не любят тебя, – пожал плечами Николай. – А, может, так и лучше, что она меня не любит. Хоть в этом отношении совесть моя чиста!

Отец смотрел задумчиво и печально. Не о такой судьбе мечтал он для сына. Но что теперь все эти мечты? Пепел и только. И не выговаривал. Он вообще не разговорчив был, Пётр Андреевич. Ему слишком ясны были чужие мысли, чувства, поступки, а потому не было нужды спрашивать. А своими делился он лишь в меру необходимости. В старости особенно обозначилась эта черта.

– Что фронт? – спросил, меняя тему.

– Наступление развивается успешно, – как-то и Николай не расположен был к многословности при отце.

– Успешно! – Пётр Андреевич скривился. – Этого – мало, – обрубил резко. – Тыл расхристан. Разъяснение наших целей, сути борьбы не организовано. Пропаганда – похабное слово, но она необходима. «Товарищи» искусны в ней. У них листовки! Газеты! Ложь стопроцентная, но уверенная! И бьёт в точку. А у нас – что? Осваг? Трудно найти более вредного учреждения! Понабилось шушеры, лишь бы на фронт не идти... То, что они сочиняют, читать совестно. Бездарность.

Отец бросал отрывистые фразы без всякой интонации, и лишь по тому, как играли его желваки, видно было, что старик волнуется.

– А что бы ты хотел? Воззвания Кузьмы Минина? Так взывали! А толку ли?

– На месте командования, я бы разогнал этот Осваг к матери под вятери, как говаривал мой добрый друг. Нужен толковый человек, владеющий словом, чтобы писать воззвания, листовки и всё необходимое. Но не просто владеющий, а сердцем чувствующий это слово. Пример? Вспомни Отечественную войну. Тогда Государь Александр Павлович призвал адмирала Шишкова и повелел ему писать воззвания. Задача не самая лёгкая, заметь себе. Шишков был дворянин, образованный человек, учёный. А обращаться нужно было не к образованной публике, а к простонародью. Найти простые слова, которые были бы доходчивы до сердца. Так, вот, он нашёл их! От них, сто лет назад написанных, и сегодня сердце резонирует.

Почти энциклопедическими знаниями обладал Пётр Андреевич. Ещё в детстве любил Николай, когда отец начинал что-то из истории рассказывать. Случалось такое, правда, редко, так как слишком занят он был на службе, но и тем более запоминалось. Казалось Николаю, что не было такой книги, какую отец бы не прочёл. И цитатами сыпал, которые как только в памяти помещались. Правда, память старика подводила уже. А потому принёс он из соседней комнаты пухлую записную книжку с многочисленными закладками, стал листать, поясняя:

– Библиотеку жаль... Вся в Москве осталась. Знаешь, всю жизнь боялся больше всего – пожара. Что библиотека моя сгорит, – усмехнулся грустно. – А сгорает теперь вся Россия... Вот, только тетрадь эту и прихватил с собой, как конспект всего прочитанного.

Эту старую тетрадь хорошо помнил Вигель. Отец всегда что-то записывал в ней. Записывал мельчайшим почерком, сокращая слова – так, что шифр этот лишь ему одному и понятен был.

– Вот, нашёл, – сказал найдя нужную страницу. – Послушай, как сказано: «Да встретит враг в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества; Святейший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ Русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы укрепившихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием на руках, никакие силы человеческие вас не одолеют...» Так-то! А теперь тухлятина казённая – с души воротит читать.

– Тебе бы взяться за это дело, – полушутя, но и полусерьёзно сказал Николай.

– Я не Шишков. Для всего свой талант нужен, – хмуро отозвался отец. – У нас все самые бойкие перья у либералов и социалистов строчат. Россию развалили, теперь ещё и здесь всё норовят расколоть.

– Чем ты намерен заниматься в Ростове?

– Как Бог даст. Пока ума не приложу, – Пётр Андреевич пожал плечами. – Ты знаешь, я не люблю сидеть без дела. Но и не вижу, где бы мог пригодиться. Пока буду наблюдать...

Нет, не переменили отца ни болезни, ни крах всей жизни его, ни заключение, ни бегство из родного города. Он и теперь готов был включиться в работу для блага России, когда бы только нашлась для него такая. И раздражался, что не находилась. И затаённо, знал Николай, мается от неизвестности, что теперь с Ольгой Романовной. Даже не мог себе вообразить Вигель, какие кошки должны скрестись у отца на душе. Каково-то после стольких лет разлучиться и не иметь возможности ни весточки послать, ни справиться? Хоть и ревновал Николай всегда немного отца к мачехе из-за матери, но и сам привык и привязался к ней. И ей – как оказаться вдруг одной? В городе, ставшем почти враждебном?

Неделю провёл Николай в Ростове. И всю напролёт – с Наташей. Не расставались в эти дни. Наташа повеселела, румянец проступил на бледных щеках. И льнула доверчиво, словно защиты ища, мягкая, тёплая, словно кот её, ходивший по квартире с хозяйской важностью. И размыкалась, уходила тоска от этой ласковости женской – как и сроднились уже. Но даже в эту неделю, когда вроде бы никакой грани не осталось между ними, так ни разу и не назвала она его по имени. Казалась счастливой, а по ночам вдруг просыпалась, плакать начинала. На все вопросы не отвечала ничего, а лишь прижималась теснее, словно испуганно. И столько смешенной с жалостью нежности поднималось в груди. Как к ребёнку малому. Так хотелось утешить её, успокоить. Шептал ей что-то ласковое, затихала она и снова улыбалась.

Утром приходила прислуга, готовила обед. Наташа хозяйствовать не умела. Атмосферу уюта за столом создать – это талант её был. Но быт – никак бы ей не совладать. А за столом собирались втроём: Николай, Наташа и отец. Наташа – всегда безупречно одетая, причёсанная, посвежевшая. К отцу – предупредительно-внимательная. Кажется, и впрямь поладили они. Тот счастье! Отдыхал Вигель душой в эти часы. Вот, как будто семьёй одной уже были. Подумалось, что жениться на Наташе и хорошо будет, пожалуй. Закончится война, поселятся они вместе в Москве, или же в домишке за городом, где тишина и покой, столь нужный для расстроенных её нервов, и... Рисовало счастливые картины услужливое воображение, но уж Николай и притормаживал его. Не в наше время смутное размышляться.

Уезжал успокоенный. Хорошо, что отпуск взял. А то бы издёргался только зазря – и много бы проку с него такого на фронте было? А теперь с новыми силами – в любое сражение! На вокзале простился сперва с Наташей сдержанно (на людях стеснялась она), затем с отцом.

– Береги её, я тебя очень прошу, – попросил, уже на подножку вскочив.

– Не волнуйся, – кивнул Пётр Андреевич. – Всё хорошо будет. Главное, береги ты себя.

Этого счастья в годину чёрную – уже не с избытком ли? А не поскупилась судьба и ещё на одну радостную весть. Из далёкой Сибири слух дошёл, что сражается в рядах армии Колчака – полковник Пётр Тягаев! Эту бы весточку благовую в Москву передать, Ольге Романовне, места себя не находящей, так долго о сыне ничего не знающей. И крепла вера – перевернётся грозная эта вежа, и схлынет красная нечисть, полонившая Россию, и белые рати в Москву с победой войдут. И так ясно виделась эта картина! Купола золотые, благовест, а по широким московским улицам маршируют белые полки, встречаемые цветами...

И в таком-то расположении духа пришёл капитан Вигель в этот июньский вечер проститься перед отбытием на другой фронт с генералом Врангелем. Сперва ожидал в маленькой прихожей, где толпились адъютанты и ординарцы командующего: у Петра Николаевича ещё не окончился приём. Входили и выходили из кабинета люди. То и дело доносился властный голос барона, отдававший какие-то распоряжения. Часто долетало знакомое: «Отлично, превосходно!» И выходили счастливые похвалой генерала офицеры. Наконец, иссяк казавшийся неиссякаемым поток, и капитан смог войти.

В маленьком кабинете фигура Врангеля, слегка пригнувшись в оконном проёме, казалась ещё выше. Приветствовал радушно. Ещё со времён операций на Северном Кавказе сложились отношения между ними. А поговорить не успелось. Доложил вошедший адъютант:

– Автомобиль подан, ваше превосходительство!

– Отлично, превосходно... – Пётр Николаевич обернулся к Вигелю. – Я еду осматривать позиции на подступах к городу. Нужно позаботиться о хорошем их укреплении. Не желаете составить мне компанию?

– Сочту за честь, ваше превосходительство.

В лучах заката всегда по-другому видится всё, нежели днём. Цветы и травы, устав от зноя, клонятся к земле, и уже не печёт солнце, не слепит глаз. Автомобиль выехал из города, поднимая за собой столбы пыли – давно ждала дождей потрескавшаяся от жары земля. Лицо генерала было озабоченным. Острым глазом он замечал всякую мелочь, иногда давал короткие распоряжения адъютанту. Этот человек, видимо, обладал завидным иммунитетом к победной эйфории. Даже самые крупные победы не пьянили его чрезмерно, не затмевали рассудка. Только вчера пал к его ногам Царицын, а будто бы это уже давно было. Уже и позабыл. И весь устремлён вперёд. К новым операциям. И просчитывает их на много шагов вперёд, и в туманной дали что-то угадывает взор стальных, а притом не теряющих теплоты глаз.

– Нет ли вестей от вашего брата? – спросил Пётр Николаевич.

– Пока никаких. Связь с Сибирью у нас, к сожалению, налажена не так хорошо, как хотелось бы.

Едва заметная тень пробежала по лицу генерала:

– Если бы мы соединились с Сибирской армией, то, возможно, вы могли бы уже лично обнять вашего брата. Признаться, мне немного жаль, что он теперь не здесь, не на Юге. С его боевым опытом ему бы нашёлся достойный пост в нашей коннице. Хотя, вероятно, и там его талант востребован. Может, даже там он нужнее. В Сибири нет такого числа хороших кавалерийских командиров, как на Дону и Кубани... Когда бы фронт был един – так и дополнили бы друг друга, и сообща раздавили бы «товарищей».

Да, не ошибся Вигель, когда ещё в кабинете ощутил, что настроение командующего сильно отлично от его собственного. Давно шли толки о расхождениях в вопросах стратегии между Ставкой и штабом Кавказской армии. Ах, как скверно это, как скверно... И теперь совсем не вдохновлён Врангель московским приказом. Хоть и ни слова об этом, но между слов, но в тоне – читается. Напрямик не сказал ничего. Да и Николай не спросил. Не захотел спрашивать. Угадывал, что ничего хорошего не прозирает впереди дальнзоркий генерал, а худого не хотелось слышать теперь, собственной радости туманить не хотелось отчаянно. А наоборот – отдался ей, порыву стремительному отдался всецело, и просто, по-солдатски исполнять приказ – идти на Москву! Подсказывала, правда, логика, что в отношении соединения с армией Колчака прав был Врангель. Сообща действовать всегда сподручнее. Но... Но и не безграмотные же люди в Ставке сидят! Хоть бы и Деникин сам! Тоже, должно быть, продумывали, как лучше, и резоны их весомы несомненно. Да и при том, как семимильными шагами вперёд движемся, неужто до Москвы не дойдём? И Москву ощущал Вигель, как уже взятую.

Загрохотало где-то впереди раскатисто. Запрыгали вспышки по темнеющему небу.

– Никак большевики прорываются, – насторожённо заметил адъютант. – Какие будут приказания, ваше превосходительство?

Мог бы и не спрашивать, впрочем.

– Поезжайте туда!

– Слушаюсь!

Это точно вылазка большевиков была. Уже вскоре показались люди: женщины с детьми, бежавшие из предместья, где разгорелось сражение. А потом и солдаты замелькали. И конные. Люди узнавали генерала, бросались к автомобилю, тянули руки, женщины плакали. Кажется,

каждый мускул напрягся в лице Петра Николаевича, и совсем сухим стало оно. И сам он вытянулся, как струна. Наконец, приказал остановиться, поднялся, крикнул громово, отрезвляя не терпящим возражений голосом перепуганных людей, сгрудившихся вокруг:

– Что здесь происходит?! – подъехавшему офицеру. – Доложить немедленно!

– Красные, ваше превосходительство! Заставу нашу смяли!

– Всем остановиться! Смирно! Солдатам и офицерам – немедленно повернуть назад! Держать оборону! Женщины, заберите детей и расходитесь! Никакой угрозы городу нет!

И хотели верить, и сомневались – велики глаза у страха. Метались. А ещё загорелось где-то, небо кроваво окрасив – снаряд в нефтяной склад угодил? И не прекращалась беспорядочная стрельба совсем близко. Ко времени подоспел конвой командующего.

– Коня! – громыхнул Врангель.

– Ваше превосходительство, да поберегите же вы себя! – взмолился адъютант.

Но уже не слышал его Пётр Николаевич. Пока подавали коня, успел бросить Вигелю:

– Будем живы – встретимся ещё! Если получите вести от брата, опишите. Удачи вам, капитан! – и вскочил на коня, и во главе конвоя устремился прямо навстречу зареву, туда, где гремел бой, скрылся во мгновение ока в клубах поднятой пыли...

Глава 2. Крушение

29 июля 1919 года. Окрестности Челябинска

...А как всё славно начиналось этой весной! Город за городом освобождался от насильников и встречал белые войска. Уже и к Волге энергично путь торили, занимая оставленные по осени Волжанами территории. На Святой неделе так и вовсе светились все, обнадёженные успехами армии, известия о которых передавались изустно, обрастали легендами, преувеличивались изрядно. То, что на деле не всё так блестяще, как хотелось бы верить, каппелевцы смутно понимали. Им, в Кургане застрявшим, трудно не понимать было, на себе «заботу» Ставки испытывая.

В Курган волжские части были отправлены на отдых и переформирование. Волжский корпус должен был состоять из Самарской, Симбирской и Казанской пехотных дивизий и Волжской кавалерийской бригады. Это были уже не те отряды в несколько сотен человек, с которыми Каппель начал свою борьбу на Волге – здесь были тысячи, которые надо было обучить, обмундировать, вооружить, а главное, воспитать. Работы было очень много, но Каппель ее не боялся – страшнее было другое. Омск так и остался противником Каппеля. Верховный правитель был искренен и благороден, но короля, как известно, играет свита. А свиту волжский герой раздражал. Жаловал царь, да не жаловал псарь... Ставку раздражала настойчивость, которую проявлял Каппель, требуя все необходимое для своего корпуса. Если Каппель в отношении самого себя не проявлял никаких претензий, то людям доверенным ему он старался всегда дать все то, что полагается. На Волге было проще – с Самарским правительством Каппель мало считался, и все что добывал в боях, сам и распределял между частями. Все нити управления в этом отношении сходились к нему. А здесь должен он был – просить. Сама эта необходимость вставшая – всего просить у Ставки – раздражала его до последней крайности. Просить то, что положено было по праву. Просить для общего дела. Просить, будто бы это ему одному, генералу Каппелю, нужно было корпус этот формировать. Для людей, которые шли и скоро снова пойдут на тяжкие испытания, может быть, на смерть ради Родины, нельзя просить! Им должны давать все необходимое. Владимир Оскарович знал, что на складах Омска лежало обмундирование, которого хватило бы на три таких корпуса, а его части все еще щеголяли в том подобии обмундирования, в котором пришли с Волги, лишь подлатанном да постиранном, и жители Кургана, глядя на них, с сомнением качали головами:

– Неужели эти оборванцы могли так воевать на Волге?

Выработанные на основании опыта и законов штаты трех пехотных дивизий и кавалерийской бригады были с самого прибытия Каппеля в Курган отправлены в Омск. Проведенная в начале Девятнадцатого года мобилизация должна была дать людей, но и их не было. Получалась тяжелая картина, когда части состоят из одного командного состава. Не было в достаточном количестве оружия, конский состав почти отсутствовал, хозяйственные части не имели самых минимальных запасов. Нужно было создавать, творить, работать, но материала для творчества не было. Формирование корпуса стояло на мертвой точке. Обещаны были пополнения им. Но обещанного, как известно, три года ждут. А ждать-то смерти подобно было! В стихийную эту пору быстрота действий, если и не всё, то очень многое решало. А потому, едва успев обосноваться в городе, стал Владимир Оскарович пытаться дозвониться до Ставки, до главы её, пресловутого генерала Лебедева. День, другой, третий – без толку. Собрались старшие офицеры на совещание. И Тягаев первым предложил:

– Не стоит ли обратиться напрямую к адмиралу? Попросить его ускорить формирования? – а сам о Кромине подумал: через него всего легче действовать в этом направлении.

Но Каппель не согласился. Не в его характере было жаловаться.

– Нет, Пётр Сергеевич, к этому средству мы не будем прибегать. Мы здесь многого не знаем. Верить не могу и не хочу, чтобы Ставка мне мешала. Мы творим одно дело, – может быть, уже все заготовлено, может быть, отправлено... Но требовать буду, не просить, а требовать. И добьюсь! – с этими словами генерал достал из шкафа бутылку коньяка и, когда рюмки были наполнены, произнёс:

– За работу, за успех ее, за победу, за Россию, за всех вас!

– Мы всегда с вами и с Россией, Владимир Оскарович, – тихо ответил кто-то из присутствующих.

А на другое утро, наконец, состоялся телефонный разговор с Лебедевым. Разливался главнокомандующий в славословиях, и любой важный вопрос в этом елее утопал. Но Каппель вокруг да около не стал ходить, в лоб вопрос поставил, почему Ставка так и не выслала ни обмундирование, ни оружие, ни людские пополнения для развертывания корпуса. А в ответ безмятежнейше, чуть ли не с позёвыванием:

– Но, дорогой Владимир Оскарович, это же пустяки. Отдохните сами, дайте вашим орлам отдохнуть. Всё будет предоставлено, но подождите немного – недели две, три. Сейчас идет разработка плана весеннего наступления, согласно моего большого проекта. Нужно все прикинуть, учесть, распределить, наметить. Понимаете сами, что быстро это все не провести. Частям на фронте нужно все дать в первую очередь. Требуется Пепеляев, требуется Гайда. Ваши все планы и требования я читал, и вполне с ними согласен, но повремените. Вся ставка работает теперь у меня чуть не круглые сутки, и скоро мы сможем удовлетворить и ваш корпус. Мы, – Верховный Правитель и я, – не беспокоимся за ваш корпус – вы в неделю сделаете то, на что другим нужен месяц. Как устроились? Завели ли знакомства? У меня в Ставке смеются, что одним своим появлением такой герой и красавец, как генерал Каппель, покорит сразу половину населения Кургана, особенно его женскую половину... – и снова елей полился – хоть отмывайся от него.

И, как белый день, ясно становилось: надеяться, как всегда, только на самих себя Волжанам оставалось.

Как не тяжело было сложившееся положение, а всё-таки рад был Тягаев выдавшейся передышке. Как не отдан он был до последней частицы Долгу, а есть и предел человеческих сил. Когда-то и их восстанавливать надо. К тому же Курган сразу приглянулся Петру Сергеевичу. Хороший провинциальный городок, тихий, уютный. Дома деревянные из-под высоких, каких в Петербурге не бывало, голубоватых сугробов, выглядывали, светили заиндевевшими оконцами. Люди жили размеренно, спокойно. И впервые не раздражило Тягаева подобное спокойствие в лихую годину. После стольких месяцев холода, голода, бесконечных походов и боёв так сладко оказалось окунуться в атмосферу мирной жизни. Отсыпался полковник, приходил в себя первые две недели. А потом...

– Дамы и господа, сегодня в нашем городе даёт концерт королева русского романса Евдокия Криницына! Вырученные средства целиком пойдут на нужды Волжского корпуса!

Она – приехала! Концертов дала не один, а целых три. Один – непосредственно для Волжан. И не только выручку от них передала на нужды корпуса, а ещё и из личных средств немалую сумму. А на каждом концерте исполняла Евдокия Осиповна романс на стихи Гумилёва:

– Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Тёмной пытки отчаяния, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволий,
Усмирённый, покорный, я твой навсегда.

Слишком долго мы были затеряны в безднах,
Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,

Нас крутили и били в объятых железных
И бросали на скалы, где пряталась скорбь.

Но теперь, словно белые кони от битвы,
Улетают клочки грозных облаков.
Если хочешь, мы выйдем с тобой для молитвы
На хрустящий песок золотых островов.

И надо было совершенным валенком быть, чтобы не понять, не почувствовать, что романс этой каждой строчкой к нему обращён был, как остриём рапиры – в сердце.

В корпусе приезд Криницыной вызвал восторг. Никакого труда ей не стоило немедленно завоевать сердца всех в нём. С первого выступления стала она всеобщей любимицей, для Волжан – своей, родной. И не спешила Евдокия Осиповна уезжать. Поселилась в небольшом домике, в тихом, отдалённом от центра квартале. Ждала?..

Нет, не могло так продолжаться дольше. Жалящей боли достаточно было обоим им. Вьюжным февральским вечером подошёл Тягаев к заветному дому. Постучал в дверь, гадая, сама ли откроет она, или хозяйка, которой дом принадлежал? И томился от того, что так и не смог подходящих для момента слов найти, как ни старался придумать нечто связное. Мялся на крыльце с ноги на ногу, от снега метшего белый вей. Евдокия Осиповна открыла сама. Платье тёмное, пуховый платок на плечах. Будто бы похудела за это время, или кажется только? Отступила на шаг, приглашая войти, закрыла дверь, оглянулась, улыбнулась губами подрагивающими:

– Да вы в снегу весь... Сейчас! – и стала снег с плеч его смахивать. – Давайте мне шинель вашу. Вы, должно быть, замёрзли? Там... Печь натоплена... Погрейтесь!

Шинель взяла Криница как-то трепетно, понесла, прижимая к груди, как что-то дорогое, и повесила бережно. А у дверей комнаты, куда провела полковника, остановилась вдруг, ладони к губам поднесла – платок её в этот момент с плеч соскользнул и на пол упал, а и не заметила. На глазах слёзы выступили.

– Пётр Сергеевич, милый, если бы вы только знали, как я вас ждала...

Рванулся к ней Тягаев, стиснул в объятиях, сам себя не узнавая, страсти такой прежде не ведая в себе. Сказал ли что хоть? Или так и не нашёлся? Не упомянул. Как во хмелю был.

Уютно было в этом маленьком деревянном домишке. Тихо-тихо. Только печь потрескивала, озаряла часть комнаты мягкими, огнистыми отсветами. Да ещё за окном завывала вьюга, уже до половины замётшая узорные окна. И отвычно тепло было. От печи, от одеял мягких, от Дунечкиной близости...

– Знаешь, Петруша, у меня ведь только два дорогих человека в жизни было. Покойный дядюшка и ты, – она сидела, укутавшись в одеяло, не сводя с Петра Сергеевича чудных глаз. И хоть чувствовал Тягаев тепло её, а казалось, будто бы какое-то неземное создание рядом – вот-вот вспорхнёт и исчезнет в ночи. И от мысли этой на миг страшно сделалось: привлёк её к себе. А Дунечка продолжала: – Дядюшка меня к жизни вернул, он мне жизнь открыл, мир открыл, людей. Талант мой открыл. Меня людям открыл. А ты мне меня саму открыл, вернул. Я ведь и подумать не могла, что такой быть могу, что такое счастье бывает!

Чудно признаться было, но и сам Пётр Сергеевич не подозревал, что бывает такое счастье. Называется, жизнь прожил, до седых волос и полковничьих погон. Женат был... Был? А теперь уж вроде и... Об этом не стал думать. Не к месту. Ведь почти упустил в жизни – столь важное. А теперь на излёте, среди ада разверзшегося – узнавал.

– Ангел мой, ты теперь единственное моё счастье, другого у меня не было и не будет.

Утром не ушёл Тягаев от Дунечки. Не смог... Да и какой смысл прятаться? Шила не утаишь в мешке. Все на виду друг у друга. А секрет Полишинеля разыгрывать, пожалуй, всего глупее и смешнее было бы.

Оказалась Евдокия Осиповна замечательной хозяйкой. Вот уж не ожидал Пётр Сергеевич! Откуда бы такие навыки? Такой превосходной стряпни и дома есть не приходилось. Разве что в детские годы. В родительском доме. Накрыв на стол, Дунечка садилась сбоку и, пока Тягаев ел, смотрела на него с такой неизъяснимой нежностью, что ещё вкуснее каждый кусок казался. Никогда такого взгляда у Лизы не было... Не в пронос жене думал Пётр Сергеевич (ещё бы ему её судить после всего!), но и не мог удержаться от сравнения. Лиза обычно выходила к столу сосредоточенная, углублённая в свои мысли – то ли статью какую писала, то ли уроками для подопечных своих занята была. И спрашивать о чём-то бесполезно её было: отвечала рассеянно и невпопад, неохотно возвращаясь от дел своих. Иногда читала газеты или книгу – времени другого не хватало на это. А если говорила то: или о своих делах, или же о каких-то домашних срочных. А так, что бы сесть рядом, подперев рукой голову, и посмотреть просто и ласково... А Дунечка смотрела, и растворялся полковник в этих глазах, исцелялась душа измученная.

Долга, однако же, не заставило забыть Тягаева даже это свалившееся неожиданно счастье. Вовсю велись занятия. Устав внутренней службы и дисциплинарный многие из добровольцев, особенно татары, слышали впервые. Каппель сурово требовал усиленных занятий, не давая этим возможности зарождаться в головах людей чувству обиды в отношении к Омску. Проверенные и утвержденные им расписания занятий в частях занимали почти весь день, не оставляя времени для праздности и праздных мыслей. Помощи от Омска так и не было. Владимир Оскарович разослал по всему уезду и за его пределы верных людей, чтобы, не жалея денег, они свезли в Курган все, что необходимо для корпуса. По деревням в нынешнее время можно было купить все, до пулеметов включительно. Даже лошадей пришлось самим закупать, так как Омск уведомил, что не может обеспечить ими корпус. Среди Волжан нет-нет, а слышался ропот на Ставку: обидно было быть пасынками... Но обрывал решительно Каппель подобные разговоры, свои переживания в себе таил. Своим людям генерал говорил:

– Помните, друзья-добровольцы, вы – основа всего Белого движения. Вы отмечены на служение Родины перстом Божиим. А поэтому идите с поднятой головой и с открытой душой, с крестом в сердце, с винтовкой в руках тернистым крестным путем, который для вас может кончиться только двояко: или славной смертью на поле брани, или жизнью в неизреченной радости, в священном счастье – в златоглавой матушке-Москве под звон сорока сороков.

Уж как предан был Долгу Тягаев, а, вот, привелось встретить человека ещё более преданного, самоотреченного. Владимир Оскарович избегал общества и, всецело отдавшись работе, знал только свой штаб и свои части. Один вечер как-то потратил на праздничный обед с офицерами и под конец не преминул заметить:

– В эту ночь мы пережили много незабвенных дружеских часов, но эту ночь мы украли у нашей родины России, перед которой у нас есть один долг: напрячь и удвоить нашу энергию для ее освобождения...

Грянули «ура» в ответ.

Тратить же время на личную жизнь Каппель не мог себе позволить. А ведь с ним здесь были – двое детей его. Детей, лишившихся матери, оказавшейся в плену у красных. И зная, какая участь грозит ей там за него, продолжал генерал своё служение, и Бог один ведал, что творилось на душе у него.

«Каппелевцы» – так гордо именовали себя Волжане. Но официального присвоения своего имени хотя бы даже одной части категорически не допускал Владимир Оскарович:

– Я не царской крови, чтобы это разрешить! И не атаман!

Перед генералом невольно совестился Пётр Сергеевич, за собственное счастье ощущая неловкость. В такое время и грешно уже как будто бы счастливым быть?.. А с другой стороны, когда прежде счастлив был Тягаев? Благополучен был, спору нет. А счастья и не ведал. Что же гнать его от себя? Каждый день вёл Пётр Сергеевич занятия с рядовым составом. Обучал каждой мелочи. Укрощал свою раздражительность и вспыльчивость, всегда являвшуюся в нём при необходимости объяснять кажущуюся ему простую вещь несколько раз. К вечеру выматывался, как после боя, а приходил домой, видел Дунечку – и как рукой усталость снимало.

Уже ни для кого не секрет были их отношения. И стало это привычным, само собой разумеющимся. Иногда по вечерам гуляли с Евдокией Осиповной по тихим улочкам. Хрустел приятно снег под ногами, как спелое яблоко. И приятно было чувствовать Дунечкину руку под локтем своим, и голову её, в шапочке пушистой, очень идущей ей – на своём плече. По просьбе её читал ей стихи вполголоса. Вечно бы мгновения эти длились!

Но вечного – ничего нет. В такое время – особенно. Однажды утром вызван был Пётр Сергеевич к Каппелю. Генерал сидел за столом взвинченный, словно в лихорадке, каким ещё не приходилось Тягаеву видеть его. Губы, в странной усмешке кривящиеся, нервно дёргались:

– Вот! – кивнул на лежавшую на столе телефонограмму. – Полюбуйтесь!

– Что это?

– Это – они нам пополнения дают! – Владимир Оскарович картинно округлил глаза. – И большие! – подавил нервный смехок. – Из Екатеринбурга! – и докончил, как добил: – Пополнение из пленных красноармейцев!

Так и осел Пётр Сергеевич на стул рядом стоявший, провёл рукой по лицу:

– Это же... Это же... смерти подобно! Такое пополнение не усилит корпус, а лишь ослабит его! Непроверенная, непрофильтрованная масса бывших красноармейцев непременно поглотит старые кадры, и в момент боевой работы от нее можно будет ожидать всего, что угодно! – выдохнул сорванно. А для кого? Сам Каппель сидел за столом, сжав руками голову, потемневший лицом, с глазами страшными, как некогда на Аша-Балашовском заводе. Лишь через десять минут он заговорил глухо, едва разжимая губы:

– За этими пленными красноармейцами я должен ехать в Екатеринбург и там их принять. Они, как здесь написано, сами пожелали вступить в наши ряды и бороться с коммунизмом, но... Их так много этих «но»... – покачав головой, продолжал, постепенно возвышая голос, набирая уверенности: – Всех поделить между частями... Усилить до отказа занятия, собрать все силы, всю волю – перевоспитать, сделать нашими – каждый час, каждую минуту думать только об этом. Передать им, внушить нашу веру, заразить нашим порывом, привить любовь к настоящей России, душу свою им передать, если потребуется, но зато их души перестроить! – генерал быстро заходил по комнате: – Их можно, их нужно, их должно сделать такими как мы. Они тоже русские, только одурманенные, обманутые. Они должны, слушая наши слова, заражаясь нашим примером, воскресить в своей душе забытую ими любовь к настоящей родине, за которую боремся мы. Мы обязаны забыть о себе, забыть о том, что есть отдых – все время отдать на перевоспитание этих красноармейцев, внушить нашим солдатам, чтобы в свободное время и они проводили ту же работу. Рассказать этому пополнению о том, какая Россия была, что ожидало ее в случае победы над Германией, напомнить какая Россия сейчас. Рассказать о наших делах на Волге, объяснить, что эти победы добывала горсточка людей, любящих Россию и за нее жертвовавших своими, в большинстве молодыми, жизнями, напомнить, как мы отпускали пленных красноармейцев и карали коммунистов. Вдунуть в их души пафос победы над теми, кто сейчас губит Россию, обманывая их. Самыми простыми словами разъяснить нелепость и нежизненность коммунизма, несущего рабство, при котором рабом станет весь русский народ, а хозяевами – власть под красной звездой. Мы должны... – уже глаза в глаза смотрел, как заклиная: – Мы должны свои души, свою веру, свой порыв втиснуть в них, чтобы все ценное и главное для нас стало таким же и для них. И при этом ни одного слова,

ни одного упрека за их прошлое, ни одного намека на вражду, даже в прошлом. Основное – все мы русские и Россия принадлежит нам, а там в Кремле не русский, чужой интернационал. Не скупитесь на примеры и отдайте себя полностью этой работе. Я буду первым среди вас. И если, даст Бог, дадут нам три, четыре месяца, то тогда корпус станет непреодолимой силой в нашей борьбе. К вечеру будет написан полный подробный приказ обо всем этом. Когда я их привезу, то с самого начала они должны почувствовать, что попали не к врагам. Иного выхода нет и, если мы хотим победы над противником, то только такие меры могут ее нам дать или, во всяком случае, приблизить. Да, нас наверное спросят, за что мы боремся и что будет, если мы победим? Ответ простой – мы боремся за Россию, а будет то, что пожелает сам народ. Как это будет проведено – сейчас не скажешь – выяснится после победы, но хозяин страны – народ и ему, как хозяину, принадлежит и земля, – утомлённый нервным порывом Владимир Оскарович опустился на стул, добавил негромко: – Вы, Пётр Сергеевич, знаете мои убеждения – без монархии России не быть. Но сейчас об этом с ними говорить нельзя. Они отравлены ядом ложной злобы к прошлому и говорить об этом с ними – значит только вредить идее монархии. Вот потом, позднее, когда этот туман из их душ и голов исчезнет – тогда мы это скажем, да нет не скажем, а сделаем, и они первые будут кричать «ура» будущему царю и плакать при царском гимне...

Из Екатеринбурга Каппель привёз более тысячи красноармейцев. Старые Волжане растворились в их массе. Наступила для волжских офицеров страдная пора. Многие из прибывших были пропитаны во время службы в красной армии соответствующим направлением, и приходилось много работать, чтобы перевоспитать их, согласно приказу Каппеля, а во многих случаях и проверить их лояльность. Это требовало, прежде всего, времени, и, полагая, что на полное формирование корпуса, проверку прибывших людей, знакомство с ними и организацию сильной боевой единицы, его будет дано достаточно, все старшие и младшие начальники, не жалея себя, принялись за работу. Владимир Оскарович, как всегда, показывал пример своим подчинённым. За три недели с момента прибытия пополнений генерал потерял представление о времени, о дне и ночи, о том, что когда-то нужно спать или обедать, мотаясь из полка в полк, из роты в роту, с утра до вечера и часто по ночам. Даже старые Волжане, знавшие его неутомимую энергию, теперь удивлялись, не понимая, как может человек выносить такой нечеловеческий труд. Наконец, результаты этой самоотверженной работы стали сказываться. Корпус был почти очищен от подозрительного элемента. Теперь нужно было ещё два-три месяца, чтобы закрепить первые результаты, и тогда можно было бы вести корпус в бой...

И в этот момент, как гром среди ясного неба, из Омска пришла телеграмма: «Комкору 3 генералу Каппелю. По повелению Верховного Правителя вверенному вам корпусу надлежит быть готовым к немедленной отправке на фронт. Подробности утром. Начальник Ставки Верховного Правителя генерал Лебедев»...

Немыслимо было! Преступно! Единственная рука ходуном ходила, когда проклятую эту телеграмму держала... А на генерала смотреть больно было. Закопались доморощенные стратеги из Ставки – как белый день, ясно. Затрещал фронт. Стратегов этих лично на ближайших фонарях вздёрнуть приказал бы Пётр Сергеевич. И не теперь! А раньше ещё!

Раньше – когда утверждали план наступательных операций. Два варианта действий на выбор было. Или выставить заслон в направлении Вятки и Казани, а основные силы отправить на Самару и южнее, чтобы у Царицына соединиться с Добровольческой армией. Или же направить главный удар на Вятку и Казань, чтобы выйти к Архангельску и перекинуть туда базу из Владивостока. Ни малейшего сомнения не было у Тягаева, что первый вариант бесспорно предпочтительнее. Ещё Драгомиров учил: врага надо бить кулаком, а не растопыренными пальцами. И, в первую голову, нужно идти на соединение с Деникиным. К тому же в южном направлении легко увлечь за собой чехов, рвущихся на родину. И край богатейший был там – всю Россию прокормить и отопить хватило бы. Но наверху рассудили иначе: гене-

рал Гайда, бывший больше авантюристом, нежели полководцем, мечтал въехать первым под бело-зеленым знаменем в Москву, начальник Ставки Лебедев считал, что население северных губерний настроено против большевиков, генерал Нокс желал через освобождение от большевиков Вятки организовать снабжение армии Колчака по северным рекам. Поэтому главный удар Ставка Колчака стала готовить не в направлении Самары – Астрахани, где можно было соединиться с уральскими казаками и силами Деникина, а в направлении Вятки – через дремучие леса и болота, сильно замедлявшие возможности маневра.

Но если бы только это! Де-факто армия двинулась сразу по обоим направлениям, враздробь, разрывая фронт – всем стратегическим нормам наперекор! И Западную армию, на Юг наступавшую слабили, за счёт неё вдвое усилив Сибирскую.

Упрекать за стратегические просчёты адмирала не приходилось. Попробуйте-ка вверить сухопутному военачальнику флот – долго ли он на плаву продержится? Так и флотоводец не мог сухопутные операции достаточно разбирать. Но генералы-то? Ведь не сам же Александр Васильевич план операций составлял! Ведь окружали его советники – из армейцев! А они – военной науки на зуб отродясь не пробовали?.. А выскочку Лебедева этого, из молодых, да раннего – гнать ещё когда бы поганой метлой. Доверить ему Ставку! При нём особым шиком стало нормы стратегии презирать. Что там опыт, веками накопленный! Они – лучше придумают! И придумали...

За два месяца почти непрерывного наступления Западная армия выдохлась. Новые пополнения приходили редко, к тому же они были плохо обученные. Одним из них был «курень» украинцев-сепаратистов имени Тараса Шевченко, созданный при участии сторонников Украинской Рады и гетмана Скоропадского. Еще до прихода на фронт «курень» был распропагандирован большевиками, воспользовавшимися тем, что правительство Колчака избрало при проведении своей политики великодержавный курс, который исключал существование независимой Украины. Неожиданно для командования Западной армии курень восстал, перебил своих офицеров, захватил артиллерию. После этого он окружил один из полков шестого Уральского корпуса, солдаты и офицеры которого ничего не подозревали. Этот полк, личный состав которого в большинстве своем состоял из насильно мобилизованных крестьян Акмолинской губернии, уже поднимавших восстания против службы в белой армии, также перешел на сторону мятежников, которые, по всей видимости, были связаны с красными частями на фронте. В образовавшуюся брешь, закрыть которую было нечем, хлынули красные. Ханжин, генерал от артиллерии, с тактикой пехоты был знаком мало и не мог проявить знания опытного пехотного офицера, что, одновременно с почти полным отсутствием резервов, сделало ситуацию близкой к катастрофической. Белогвардейское командование в лице Лебедева не нашло ничего лучшего, как срочно бросить в бой недоформированный корпус Капеля, хотя была прекрасная возможность перебросить с северного направления подразделения Сибирской армии.

Колотило Волжан. Сами закопались, а нами – дыры затыкать теперь? Гибель верная! И корпуса-то нет, как такового! Состав частей почти на восемьдесят процентов состоял из привезенных три недели назад пленных красноармейцев. Их не то что перевоспитать, но и достаточно познакомиться с ними командиры частей не успели. Верить этой чужой еще массе нельзя было, тем более, что было несколько случаев обнаружения среди пополнения специально подсланных коммунистов-партийцев. Прежде корпус был невелик, но монолитен, существовал, как единый организм, и командир мог ручаться за каждого своего бойца, и эта вера друг в друга, во многом, обеспечивала победу, теперь же эти проверенные бойцы были утоплены в ненадежных пополнениях, и всякий план стало нужно составлять с учетом почти полной ненадежности частей, не имея уверенности ни в чём. Нарочно спросил Капель командиров частей, собрав их у себя:

– Вы верите в своих солдат, вы знаете их?

– Нет, – коротко отозвались офицеры.

По телефону Владимир Оскарович связался с начальником Ставки Лебедевым, привел все имеющиеся у него доводы, доказывая бесполезность отправки корпуса на фронт в настоящем его состоянии, рисовал катастрофу, которая может произойти. Он говорил долго, горячо, не в силах сдержать боли, Лебедев слушал, не прерывая, а когда Каппель остановился, ответил коротко, приговорил бестрепетно:

– Генерал Каппель, вы получили приказ? Завтра корпус должен выступить в полном составе в распоряжение Командарма три.

Приказ нужно было выполнять... В настроении похоронном собирались спешно. Город как будто и не сильно встревожен был. Ещё угрозы себе не чувствовал. Да и дни какие стояли! Майские! Безоблачно-светлые, благоухающие... Листва шумела отрадно, солнышко только только припекать начинало, в силу входить. О плохом – не думалось.

Перед отъездом успел Тягаев на час к Дунечке зайти проститься. Она уже знала обо всём – не зная, сможет ли выбраться, послал к ней Пётр Сергеевич Доньку с короткой запиской. Ждала, на крыльцо поминутно выходя. Лишь подошёл, схватила за руку, к лицу поднесла, прижалась щекой:

– Если бы ты не пришёл, я бы сама на вокзал приехала, – подняла глаза, от слёз туманившиеся. – А, может быть, мне поехать можно?

– Нет, – решительно ответил полковник. – На фронте тяжёлая обстановка, к чему приедем, и что там будет – мы сами не представляем. Сюда уж вряд ли возвратимся...

– А куда же?..

– Я ничего не знаю, – удручённо качнул головой Пётр Сергеевич. Он вновь поймал себя на мысли, что с Лизой никогда не было ему прощаться так тягостно. С ней прощались всегда легко. А с Дунечкой – словно душу надвое разрывал.

– А ты, ты здесь останешься?

– Пока да. Я от тебя письма ждать буду... Я понимаю, Петруша, что там не до писем. Но ты хоть два слова... Просто, что жив... Хорошо?

– Конечно. И сам не смогу иначе. Не писать тебе, не получать вестей от тебя. Если в этой проклятой круговерти мы потеряем друг друга...

Тонкие, тёплые пальцы замкнули губы полковника.

– Нет! Нет! Я никогда тебя не потеряю. Я тебя везде найду, – так уверенно и твёрдо прозвучали эти слова, что от сердца отлегло. Смотрел Тягаев на Дунечку – наглядеться не мог. Хрупкая она была, ранимая, нежная, а при том – сколько сил, сколько выдержки, сколько воли и решимости. И отваги. И как не быть им у женщины, за годы войны все фронты исколесившей? Это лишь в русской женщине так сочетается: очаровательная слабость с силой душевной, мягкость, обволакивающая, в себе растворяющая – с твёрдостью перед лицом испытаний, податливость, собственное «я» забывающая – с волей... А, впрочем, может и не только русских женщин это достоинство? Других Тягаев не знал.

Ранним утром эшелоны Волжан двинулись на фронт. В дороге ещё «порадовали» – части корпуса размётывались по разным участкам. Кавалерию и артиллерию (коренных Волжан!) приказано было передать в распоряжение казачьего генерала Волкова. Осталась одна пехота (и она сосредотачивалась частями) – из красноармейцев большей частью. С ними и воевать только... Владимиру Оскаровичу, между тем, вручалось командование всем Самарским направлением.

Тринадцатого мая произошла катастрофа, какой и боялись более всего. Симбирская бригада перешла на сторону красных. Солдаты, набранные из красноармейцев, уводили с собой офицеров. Известие об этом Каппель получил на станции Белибей, куда прибыл накануне и рядом с которой развёртывались бои. Здесь же находился и Верховный Правитель, в тяжёлый момент чувствовавший себя обязанным быть на фронте. Тягаев не видел адмирала полгода.

И сейчас при взгляде на него одна мысль-чувство мелькнула: «Несчастный благородный страдалец!» Ему только-только показали выводимые в тыл части двенадцатой Уральской дивизии. Люди были без обуви, в верхней одежде на голое тело, или же вовсе без шинелей. Прошли чинно церемониальным маршем. Остановились. Отдали честь. Адмирал начал говорить что-то, но сбился – отказало красноречие от горечи, вызванной таким беженским видом героев. И кто-то из них сказал громко, прочувственно:

– Да не надо ничего говорить, ваше превосходительство! Мы ведь всё понимаем...

Александр Васильевич выглядел потрясённым. Не мог он предполагать, что в таком состоянии могут быть армейские части. И о том, как издевалась Ставка над Волжским корпусом, не ведал. Пожалел Тягаев, что не убедил Каппеля обратиться напрямую к адмиралу. Или не напрямую – через Кромина. Надо было убедить, или по собственной инициативе через старого друга действовать...

В этот момент прибежал один из штабных офицеров с лицом опрокинутым, оглушил известием:

– У нас несчастье! Один полк целиком перешёл к красным, захватив офицеров!

Это – Симбирцы были...

Показалось Тягаеву, что при сообщении этом даже качнуло Верховного, как будто почва из-под ног ушла. Потемнел ещё больше лицом, больными глазами посмотрел на Каппеля, вымолвил голосом, в котором слышались едва сдерживаемые истерические нотки:

– Не ожидал этого... – и, взяв себя в руки, попытался ободрить генерала: – Прошу вас, Владимир Оскарович, не падать духом...

Не падали... Уже и некуда падать было. День этот, тринадцатое мая, стал первым днём Катастрофы вооружённых сил Сибири. Остатки каппелевских частей, отступали с уральцами и сибиряками, неся под непрерывным огнём красных огромные потери. Больших усилий стоило собрать их. А собрав, впору взвыть в голос было. Третий корпус, на который потрачено было столько сил и энергии, практически перестал существовать. А ведь, если бы дали времени требуемого, то была бы это мощная сила, которая была бы большевиков! Да что теперь... Не вернуть...

Отступала, катилась назад стремительно Западная армия, снова оставляя недавно освобождённые города, срывая за собой тысячи беженцев, не успевая закрепиться, удержаться на какой-либо линии, на которой должно было бы остановиться и, подобравшись, снова идти вперёд. Штаб армии слал директивы: «упорно удерживать», «нанести стремительный удар», «энергично перейти в наступление»... Этот поток ненужных приказов не успевали даже расшифровывать. Распоряжались командующие группами сами по обстоятельствам.

В июле докатились до Челябинска. В это время командующим Восточным фронтом был назначен опытный генерал Дитерихс. Появились слухи, что вскоре он займёт место Лебедева. Да давно бы уж!.. Вот кому – карты в руки!

Михаил Константинович Дитерихс не входил в число полководцев, увенчанных победными лаврами, прославленных и известных. Его военная карьера не имела взлётов, а развивалась постепенно. Служить ему приходилось преимущественно на штабных должностях. К работе штабной Михаил Константинович имел несомненный талант. Знаменитый прорыв Брусилловский, увековечивший имя его, был не в меньшей степени заслугой Дитерихса, являвшегося в ту пору генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного фронта и ближайшим помощником Брусилова, большую роль игравшим в разработке всех военных операций. В Семнадцатом успел Михаил Константинович послужить в той же должности в Ставке. При Духонине. Он покинул Могилёв перед самым приездом Крыленко с его головорезами и тем уберётся от участи последнего Главкома. После этого оказался Дитерихс на Украине, там возглавил штаб Чехословацкого корпуса, с которым и добрался до Сибири. А в Сибири при Колчаке не нашлось опытному сорокачетырёхлетнему генералу места ни в Ставке, ни на фронте.

Но нашлось совсем иное дело – Верховный Правитель отправил Михаила Константиновича в Екатеринбург расследовать обстоятельства убийства Царской семьи. И всё это время тем и занят был Дитерихс. К делу на совесть подошёл. Да и как бы иначе? Об убеждениях многих начальников сомневаться можно было, а о Дитерихсе точно каждому известно было: монархист до мозга костей. Он из Екатеринбурга уезжал, когда отступающая армия уже на подступах к нему сражалась. И успел все документы, улики, вещи, принадлежавшие Венценосной семье, переправить из города, спасти. А теперь, как грянул гром, так сперва вручили ему Сибирскую армию Гайды, с трудом из рук этого прохвоста вырванную, а теперь и весь Восточный фронт. На положение дел смотрел генерал мрачно. Он даже в дни побед на фронте, как говорили, далёк был от оптимизма и предрекал нынешнюю катастрофу. И теперь план его был: отвести армию сразу – за Тобол. Укрепиться там, переформировать и пополнить войска, а по весне перейти в наступление. Нужно было людей сохранить, кадры сохранить. Бесчисленные бои измождённой армии уже не могли нисколько спасти положения, но драгоценные жизни уносили. Даже победа, вдруг одержанная, не изменила бы хода дел, потому что сил уже не осталось. Только людей губить – а эти потери невозполнимы. Зачем и победа нужна, если армии не останется? Михаил Константинович правды не боялся. Не скрывал её ни от себя, ни от других. И от адмирала не скрывал. Но правды этой не желали знать. Слишком горька она была, слишком хотелось верить в лучшее. Дитерихса поддерживал военный министр Будберг, известный своим всегдашним пессимизмом.

Но пока оставался на посту злой гений... Лебедев. И метались в Ставке, не могли решиться на что-либо. Противники плана Дитерихса зашумели, что такое решение будет воспринято, как бегство и трусость. Знали чувствительные струны адмиральской души. И, вот, отдан был приказ о переходе в наступление. Переход этот, контрманевр, сражение генеральное назначили на последние числа июля под Челябинском. По мысли господ «стратегов» предполагалось уступить челябинский узел, а затем окружить красных ударными группами Войцеховского с севера и Каппеля с Юга.

Ещё накануне бригада полковника Тягаева закрепилась у небольшой речушки, мелкой, среднерослому солдату едва повыше колен. За ней в крупном селе держали оборону красные. К активным действиям пока не переходили, лишь постреливали с разной степенью интенсивности. Большевицкий огонь част был, а ответного – никакого почти. Экономили патроны, которых привычно не хватало. Главная заповедь для белого воина: патроны и снаряды беречь пуще жизни – других не пришлют. Стрелять редко, но промаху не давать. Ожидали приезда Каппеля, чтобы перейти в наступление. А пока мёрзли в наспах вырытых окопах, кастерили тяжёлыми словами Ставку и интендантов – больше чем большевиков.

Погода не баловала третий день. Тусклое серое небо время от времени выдавливало противную морось, задувал северный, совсем не летний ветер. Не поверишь, что июль-месяц. Тягаева знобило. Вот, ещё глупость: всю зиму по сорокаградусным морозам проходить, а летом простудиться... Он сидел под натянутым в редкой рощице брезентом, курил трубку. Временами посвистывали пули вблизи, но и внимания не обращал – так привычно это стало. Наступление виделось ему делом, заранее проигранным. Не говоря об усталости физической, но и настроения не было в войсках. Два месяца отступлений, бесполезных боёв и жертв не оставили места порыву, вере в победу. И моральных уже не было сил вновь теперь проделать тот путь, который лишь весной прошли. Про физические и говорить нечего. Большевики патронов не жалеют, а у нас – каждый на счету. И перевес численный на их стороне. С нужным настроением смяли бы и с перевесом, а так... Смотрел Тягаев на своих бойцов, и читал в их глазах только усталость. Да ещё раздражение на глупость вышестоящую.

– Всё, барин, бесовским зельем утешаешься? – это дед Лукьян подошёл, поморщился от дыма табачного. – Что-то Донька наш запропастился... Пора бы и вернуться ему...

Донька при полковнике исполнял обязанности вестового. Заметил Пётр Сергеевич, что немало мальчишек явилось на фронте. Большею частью, развозили почту, приказы. Целое подразделение сформировано было из таких молодцов. Много кадет среди них было, а ещё гимназисты. Из домов родительских бежали – умирать за Россию. Некоторым лет по двенадцать было. Доньке служба очень по душе пришлась. В Кургане он скучал, как и дед его. Оба рвались в бой. Зато на фронте – воспрянули. Даже отступление боевого задора их не отбивало. В Кургане Доньке пошили форму. Безукоризненно сидела она на нём. Смотрел на себя мальчонка в зеркало, поправляя широкий ремень, и светился радостью – это не сермяга его крестьянская была, настоящая форма! И шла она маленькому герою. Ещё и шинелишка была к ней, но для неё не приспела пора. Выучился Донька строевому шагу и иным армейским премудростям – на занятия ходил исправно. А на фронте выделили ему малорослую сибирскую лошадку – каурого, шерстистого гривача. Летал на нём юный вестовой, доставляя из части в часть приказы и донесения. За отвагу несколькими днями назад прицепил ему на грудь полковник первую в его жизни медаль, весело поблёскивающую на солнце. То-то счастье было для мальчишки! Сиял, как именинник, весь день, а ещё и поздравляли все. В его-то годы что отраднее может быть?

Этим утром Тягаев отправил Доньку с донесением в оперирующую по соседству часть. Нужно было уточнить кое-что для лучшей координации действий. Ускакал на своём кауром и не возвращался до сих пор – а время бы...

– Небось, на подвиги потянуло его, баламута, – качал белой головой кудесник. – Приедет – схлопочет... Дед на его ероинства глядеть не станет...

В стариковском ворчании слышалась тревога. Пётр Сергеевич убрал трубку в карман, опустил руку на плечо Лукьяну Фокичу:

– Не переживай, отец. Вернётся Донька. Ты ли своего внука не знаешь? Он же из любого положения вывернется. Из любой передраги уйдёт.

Старик не ответил. Заметил лишь, глядя в сторону:

– Что-то и генерал запропастился... Когда наступаем-то, Петра Сергеевич?

– Как приедет генерал, так и пойдём, – отозвался Тягаев. – Вот, скажи мне, кудесник, что мы все-то запропалились? Вот, и ты всякий бой впереди с крестом шагаешь – а мы всё отступаем, отступаем... Или Бог не с нами? А?

– Бога не трожь, барин. Нам перед ним грехов наших вовек не отмолить... А что отступаем, так нечего было большаками войско растлевать. Или не знали, что на их креста нет? Что иуды? Таких ни один поп не докаит.

– Так других людей нам не дали, сам знаешь.

– А людей вам никаких не дали. Вам иуд дали на пагубу всему Христову воинству. И нечего было брать их! Пусть бы мала горсть была, да спаяна!

– Мы не в парламенте, чтобы приказы обсуждать, – сухо отозвался Пётр Сергеевич. – Скажи лучше, что дальше-то будет? Вовсе пропадём мы, как мыслишь?

– А мы уже тебе, барин, мысли свои говорили. Говоришь, Бог не с нами? А мы – с Ним? Мы-то полностью ли отринули всякую скверну ради Божия дела? Сам ты, барин?... – в суровых глазах старика мелькнула укоризна. Тягаев отвёл взгляд. Понимал он, на что кудесник намекает, за что осуждает его. Ещё в Кургане не раз и не два встречал полковник неодобрительное это выражение в Лукьяновых глазах. И каждый раз делал вид, что не замечает. И старик черты не переходил, не напирал в открытую, а только головой качал. А теперь вырвалось:

– Не дело это, Петра Сергеевич, не дело... Нехорошо.

А кто спорит, что хорошо? Никто не спорит. Хотя, по правде говоря, жгло – поспорить. Но не счёл Тягаев нужным оправдываться, перевёл:

– Армия выдохлась, Лукьян Фокич. Солдаты воевать не хотят, офицеры утратили готовность к жертвенности. Огня не осталось в сердцах, одни уголья, – делился наболевшим. Никому, кроме этого старца-старовера, не доверял он своих мыслей.

– Эх, барин! Что армия! Народ развратился совершенно – вот, где пагуба. Никто никому подчиняться не желает. Сколько годов живём, а не приходилось такого видеть.

– То-то и оно, что подчиняться не желают. Из Сибирской армии все мобилизованные утекли. Побросали винтовки – и по домам! И заставь-ка их винтовки опять взять! Они, если и возьмут, то против нас их направят, как только случай представится.

– Не веришь ты, барин, в народ, – констатировал кудесник.

Тягаев не успел ответить. Зачастила вдруг стрельба. Послышались крики.

– Что ещё там? Не обошли ли нас?

Быстро вышел полковник из своего укрытия, пригляделся и в серой туманно-дымной пелене разглядел летящего во весь опор всадника. Это по нему стреляли с того берега, норovia подбить. А он – молодчина – изгибался ловким телом, петлял, уворачивался. Ещё мгновение, и в наезднике отчаянном узнал Пётр Сергеевич Доньку. Нёсся во весь опор его каурый гривач. Вот, уже и близко совсем. А стрельба чаще и чаще становилась. Пуля одна ветку перебила прямо рядом с полковником – упала та, листьями шерохнув, на его погон. И не заметил, весь в глаза ушёл. Куда ж ты летишь, парень? Не заговорённый же! В этом частостреле – ну, как твоя пуля окажется?.. А рядом дед Лукьян замер, молитву шептал. Минута прошла? Или того меньше? Взлетел каурка на небольшой пригорок и вдруг... Неестественно выпрямился вдруг Донька в седле. Ладонь поднёс к груди. И оседать стал... И ничем нельзя было помочь!

– Убили... – простонал глухо кудесник.

Да отчего убили сразу? Да, может, ранили только?..

А каурка бег продолжал и, вот, остановился, довезя всадника своего, неподвижного, но, кажется – живого ещё? Бросились, стащили мальчонку на землю, положили на траву – и подстлать не оказалось ничего. Живой ещё был. Только на груди, на мундире, ещё почти новеньком, огромное пятно алое расплывалось. Поблёскивала медалька тускло, и тускло глаза смотрели на бескровном лице. Дед Лукьян опустил на колени, гладил внука по влажным волосом, всхлипывал надрывно.

– Врача! – крикнул Пётр Сергеевич в отчаянии, но сам видел, что врач не поможет.

– Господин полковник... – чуть слышно прошептал Донька, задыхаясь. – Вот, здесь, здесь... – потянул руку к груди. – Донесение... вам... Я ваш приказ... выполнил...

Тягаев наклонился, извлёк запачканную кровью бумагу, пробежал быстро. Безотрадно – не удался манёвр задуманный соседям, теснили их. Пожал Донькину холодеющую руку:

– Спасибо тебе, герой... – и стиснув зубы, добавил: – Приказ... К чёрту бы приказ... Жил бы ты только! А уж мы за тебя сегодня...

Но уже не дышал мальчонка. Лежал недвижимо: рука на окровавленной груди, глаза угасшие в серизну неба уставлены. Перекрестил его дед, зарыдал хрипло, из стороны в сторону раскачиваясь, завыл:

– Донька... Донюшка... Да на кого ж... Да будь они прокляты! Чтоб им в аду гореть вечно! Чтоб... Господи! Господи! За что?! За что не накараешься над нами?! Разил бы раба своего худого любой смертью страшной! А его – за что?! Доньку – за что?! Почему не защитил, не оберёг его, Гос-по-ди?!

Подбежал, пригибаясь, Панкрат, посмотрел растерянно, сглотнул судорожно, но отпортовал:

– Пётр Сергеевич, командующий прибыл! Отправился на позиции. Вы бы удержали его – убьют ведь его там!

Тягаев тяжело выпрямился, тряхнул головой:

– Ты пока здесь останься. А я к генералу...

Капеля полковник нашёл на позициях. Владимир Оскарович шёл вдоль окопов, разговаривая с солдатами. Подниматься им он запрещал, чтобы не рисковали, так и беседовали: он на линии огня стоял, а они в окопах лежали. Ободрял их генерал:

– Держитесь, братцы, скоро подойдёт ещё полк, поддержит нас.

Родовались, оживали. Кажется, и настроение боевое появлялось. Как никто, умел его Каппель внушить. Своего рода поверье было: если Каппель в бой ведёт, то должна победа быть. Так прошёл он всю линию – и ни одна пуля не зацепила.

– Владимир Оскарович! – окликнул Тягаев генерала из своего окопа.

Каппель спрыгнул в укрытие, пригнулся, сказал коротко:

– Вас, Пётр Сергеевич, обманывать не стану: положение наше отчаянное.

– А как же полк, который нам на подмогу идёт?

– От этого полка осталось только название. И горсть людей. Но им, – генерал кивнул в сторону войск, – этого знать не нужно. Пусть верят, что идёт настоящая подмога. Так хоть настроение лучше будет. Как бы то ни было, а свою задачу мы должны выполнить: взять это чёртово село и отбросить «товарищей», насколько хватит пороха, дальше.

Это и хорошо было, что цель не менялась. Сейчас, после Донькиной гибели, велико было желание Тягаева с «товарищами» посчитаться. Подошли ещё несколько старших офицеров. Каппель коротко объяснил всем план действий. Разошлись по своим участкам.

– Ну, с Богом! – воскликнул генерал и, поднявшись, скомандовал наступление.

Грохотнула из-за пригорка укрытая там артиллерийская батарея. Поднялись из окопа засидевшиеся в ожидании боя части. Пошли цепью, как один человек – в штыки. Краем глаза заметил Пётр Сергеевич идущего впереди кудесника. Даже страшное горе не заставило его изменить долгу: высокий, по-военному выпрямленный старик с белыми волосами до плеч, чёрной тесьмой вокруг головы перехваченными, в серой сермяге и с массивным старообрядческим крестом в руках. Но вдруг – словно оступился. На колено одно припал. Это пулей ногу ему перебило. Впервые за всё время борьбы... И кто-то крикнул залиvisto:

– Братцы, деда ранили! Вперёд! Покажем красным сволочам, где раки зимуют! Бей комиссаров!

А кто-то довесил матерно.

И, вот, уже через речушку перебрались, смяли первые ряды противника. А он – силён был. «Полк» в подмогу подошёл ли? Бог весть! В этом человеческом месиве не разобрать. А оно и лучше. Пусть думают бойцы, что – подошёл. Что не одни они. А всё же замешкались, выдохаться стали. Но в этот момент несколько человек верховых показали. А впереди – Каппель. Сам в атаку повёл замявшиеся части.

– Ура генералу Каппелю!

– Вперёд!

– Ура!

И на ура – ввалились в село. И на инерции хорошей увлеклись вперёд, выбили «товарищей», погнажи. Хорошо выступили, не осрамились. Доволен был Пётр Сергеевич. Едва решился бой, отправился в лазарет, тут же в одной из изб разбитый, надеясь отыскать старика. Кудесника полковник увидел сразу. Его только-только принесли с поля боя, положили среди других раненых – пока на землю: не распределили ещё сёстры, кого куда. У Лукьяна Фокича обе ноги перебиты оказались, но не жаловался, лежал спокойно, сжимая крест сильной, жилистой рукой.

– Отец, ты прости меня, – тихо сказал Тягаев.

– За что?

– За Доньку прости. Что не уберёг.

– Не говори, чего не понимаешь, Петра Сергеевич, – вздохнул старик. – Здесь твоей вины нет. И ничьей нет. За жизни наши лишь ангелы наши пред Богом ответственны. А без Его воли и волоса ни с чьей головы не упадёт. Значит, такова Его воля была... – всхлипнул. – А мы её принять не смогли... Вот, и наш ангел лик на время отвернул... – показал на свои искалеченные ноги. – Это за ропот, за проклятья – наказание... Ничего... Вот, зарастут, и

пойдём мы опять за Святую Русь, за Христа на смертный бой. С крестом против серпа и молота ихнего. Мы ещё поборемся, барин... Не грусти...

– Прощай, отец. Поправляйся и возвращайся, – сказал полковник, пожимая руку кудесника. – Возвращайся. Ты нам нужен. Кто ж впереди нас теперь пойдёт?

– Ты пойдёшь, Петра Сергеич. Ты пойдёшь. А я за тебя и за всё воинство наше молиться буду. Иди! Христос с тобой! – сказал Лукьян Фокич, перекрестив полковника двуперстно.

Так и простились. Навсегда ли? Ком к горлу подкатывал. Но не было времени горе горевать. Уже искали Тягаева. Генерал собирал старших офицеров на совещание. Поспешил в штаб, наскоро в избе местного священника, расстрелянного большевиками, размещённый. Там уже собрались, и хмурый Капель делал какие-то пометы, склонясь над разложенной на столе картой.

– Господа, сегодня мы одержали очередную славную победу... – начал Владимир Оскарович. – Она важна уже тем, что показала большевиками, что мы ещё представляем воинскую силу и способны к действию. Однако, общей ситуации нам изменить не удалось. Челябинской операции нам не выиграть. Это ясно уже сейчас. Следовательно, отступление будет продолжено, и остановить его не в нашей власти. Тыл разлагается. Там действуют красные банды, вносящие смуту и подрывающие наши силы изнутри...

Подрывная деятельность в тылу давно уже стала проблемой серьёзнейшей. Подрывали активно эсеры, так и не принявшие власти Колчака. Эти подлецы, судя по всему, решились довести до конца начатое ещё два десятилетия назад дело разрушения России. Действовали банды дезертиров, красные партизаны. К ним примыкал бедняцкий элемент из крестьян. Банды отличались большой жестокостью и наводили ужас на население. Меры для подавления их и спровоцированных большевистскими агитаторами восстаний обычно оказывались неэффективными. Партизанщина наносила огромный вред белому делу, внося смуту среди населения и вынуждая снимать войска с фронта для борьбы с бандитскими вылазками. И какова ж наглость была! Один из наиболее известных партизанских вождей, бывший штабс-капитан Щетинкин, чья банда отличалась особой жестокостью, действовал... царским именем! В прокламации выпущенной этим ушлым деятелем православные люди призывались на борьбу с «разрушителями России» Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского, на защиту русского народа и Святой Руси под знамёнами Великого Князя Николая Николаевича, которому якобы подчинились Ленин и Троцкий, назначенные им своими министрами. «За Царя и Советскую власть!» – таков был лозунг щетинкинцев. И народ – верил! Гениально это было – объединить два полюса симпатий тёмной массы. Царя до сих пор чтили в народе. А потому и без самозванцев не обходилось. Какая ж русская смута без самозванцев? В Бийске объявился «цесаревич Алексей». И не только тёмная деревня, но и город поверил. Чествовали высокого гостя!

Этим диверсиям в тылу необходимо было что-то противопоставить. И срочно. И Капель, немало поразмышляв об этом, нашёлся – что. Владимир Оскарович составил целый план действий, которые, по его мнению, могли бы спасти положение. Первая часть его отвечала желаниям Дитерихса и Будберга: выставить заграждение на укреплённом рубеже, после чего белым частям где-то задержаться, отдохнуть, пополниться, чтобы стать снова крепкой силой. Но это не всё было. Разъяснял генерал:

– Все боевые части большевиков, как и у нас, брошены на фронт и в тылу остались только слабые, нетвердые формирования. В их тылу также беспокойно, поскольку население там уже успело испытать все ужасы военного коммунизма. Нужно бить врага его же оружием! Если они разлагают наш тыл, то почему нам не развить такую же работу у них? Мой план таков: я с двумя тысячами всадников, пройдя незаметно сквозь линию фронта, уйду в глубокие тылы противника и начну там партизанскую работу. Мы будем совершать короткие вылазки, нанося врагу максимальный урон. Одновременно поможем организации восстаний, почва для кото-

рых несомненно готова. Наши действия приведут красных к необходимости для ликвидации нашего отряда снять какие-то части с фронта, что в свою очередь ослабит его и облегчит положение армии. Что скажете, господа офицеры?

Отвечали не сразу, обдумывая услышанное. Но не спорили, понимая, что при всей опасности осуществление этого плана весомые результаты может дать. К тому же Владимир Оскарович – гений партизанской войны. Уж он-то так перцу под хвост краснюкам подсыплет, что фронт им и вовсе разворачивать придётся. И вместо «Все на Колчака!» призывать всех – на Каппеля. Одобрили. Всё ж таки за столом настоящие каппелевцы сидели. Большой частью, из старых Волжан, славные дела прошлого года хорошо помнившие.

– План очень рискован, – признал генерал. – Может быть нам суждено погибнуть... Но я надеюсь, что Ставка поймёт его целесообразность и поддержит.

Ставка? Поймёт? Лебедев?.. Нет, это безнадежно!

Вечерело. Разошлись офицеры по своим частям. А Владимир Оскарович всё сидел за столом, вносил коррективы в набросанный план, который как можно скорее нужно было отправить в Ставку. Партизанское движение в тылу противника виделось теперь Каппелю единственным спасением. К тому же рассчитывал он, что там, в страдающих под большевистским игом областях, зреет народный гнев. И нужно лишь дать толчок его выходу, надо помочь организоваться. Владимир Оскарович верил в русский народ. Верил свято и нерушимо, как в Бога и Россию. Он, даже о красных не забывал никогда, что и они – русские люди. И потому сдерживал любые мстительные и жестокие проявления подчинённых. Он верил, что под этой наносью, пеплом, души замётшим, гнездится ещё в каждом русском память о том, что он – русский. Светлое что-то остаётся. И до этого светлого бы – достучаться!

Даже в тех красноармейцев, которых отрядила ему «щедрая» Ставка, оправившись от первого ошелома, поверил Каппель. И, едва прибыв за ними в Екатеринбург, в казармы войдя, потребовал жёстко снять караул, охранявший пленных, выговорив начальнику его:

– К моим солдатам я не разрешал ставить караул никому. Я приказываю вам, поручик, немедленно снять своих часовых с их постов. Здесь сейчас начальник – я, и оскорблять моих солдат я не позволю никому. Поняли?

Это должно было сразу дать людям ощущение, что они не пленные больше, а солдаты, солдаты, призванные служить общему делу со своими командирами. Видел генерал, как на просторном казарменном дворе толпа красноармейцев, услышав его разговор с караульным, замерла, подобралась инстинктивно и уже ожидала его. Прошёл к ним, приложив руку к папахе, крикнул зычно, ударяя слегка на второе слово:

– Здравствуйте, русские солдаты!

Дикий рёв огласил двор: уставного ответа красноармейцы не ведали. И поняли нелепость своего ответа, смутились, улыбались сконфуженно, переминаясь с ноги на ногу. Улыбнулся и Владимир Оскарович им, ободрил с лёгким вздохом:

– Ничего, научитесь! Не в этом главное – важнее Москву взять – об этом и будет сейчас речь. – А затем громыхнул по-уставному: – Встать, смирно!

И недавно бесформенная толпа вытянулась по струнке... Эту толпу предстояло Каппелю везти в Курган и там воспитывать из неё солдат. Русских солдат. Белых солдат...

И повёз. И воспитывал. День с ночью смешались, и удача была, когда успевалось несколько часов для сна перехватить. Что такое красноармеец? Прежде всего, русский человек. Несчастный, потому что обманут, потому что вся душа его русская наизнанку вывернута. Тут врачевать надо. Аккуратно, постепенно, любовно. Не может быть такого, чтобы русский человек не достучался до русского человека. Если не достучались, то сами виноваты. Значит, нерадивость и леность, и недостаток горячности в деле проявили. Неделя шла, другая. И, вот, по временам встречал уже Владимир Оскарович в глазах чужих красноармейцев отклик своим словам, что-то медленно, с большим трудом, как механизм заржавленный, начинало работать в

их сердцах. И если бы дано было время, то, если и не все, то многие восприняли бы внушаемые им идеалы, приняли бы в души их. Эти идеалы успели бы укорениться в них. А за три недели отпущенных лишь наметился сдвиг, и при первом случае отступились они. Как тот пьяница, который, протрезвев после вынужденного воздержания, не успевает к трезвой жизни привыкнуть и при первой возможности вновь срывается в пьяное безобразия...

Отчего так отчаянно не хватало времени всегда? Ведь ни мгновения передышки не давал себе Владимир Оскарович – жизнь его последний год пущенного наёмом коня напоминала. А времени – не хватало. Хотя чего, вообще, хватало? Людей? Боеприпасов? Продовольствия? Обмундирования? Лошадей? Да всю дорогу существовали попеременно то на-досталях, то вовсе на-несталях. Единственное, в чём недостатка не бывало, так это в отваге верных людей. Эти чудо-богатыри и в безнадежных положениях побеждали. И сколько полегло их уже! И восполнить нечем...

Время – Божий бич, погоняющий. На кого его не хватило, так это на самых родных существ: Петрушу и Таничку. В Кургане в одном доме жили с отцом, а он за целый день считанные минуты выкраивал, чтобы поцеловать их. И даже в эти мгновения мыслями уносился уже одновременно в нескольких направлениях, разрываясь среди дел неотложных. Что-то будет с ними, сиротками?.. И с Ольгой – что?..

Как ни гнал тяжкие раздумья о ней, а наваливались. Тоской, горечью, страхом и своей виной за то, что не уберёг.

Они встретились одиннадцать лет назад. Полк, в котором служил тогда в должности адъютанта Владимир Оскарович, стоял недалеко от Перми, куда направлен был для ликвидации крупной банды бывшего унтер-офицера Лбова. Здесь же жило семейство Стрельманов. Глава его, действительный статский советник, инженер, был директором пушечного завода. Стрельманы были людьми нрава строгого, устоев патриархальных. Офицеров-кавалеристов чтили исключительно за вертопрахов и мотов, а потому даже на порог не пускали, оберегая единственную красавицу-дочь от назойливых ухаёров. Да только судьбы – не обмануть!

Был тёплый августовский вечер, на уездный бал съехались прелестные барышни, сопровождаемые почтенными отцами и матронами, и лихие гусары расквартированного здесь полка. Жизнь полковая на развлечения не щедра была, тем более, что сам Каппель не был любителем карточных игр и иных традиционных способов коротания времени, хотя никогда не сторонился товарищей, частенько засиживал с ними за стаканом вина и дружеским разговором, переходящим нередко в спор. Но во всём поручик помнил меру и никогда не переступал её. Всем же скучным развлечениям предпочитал он книгу, и в полковой библиотеке не было ни одной, которая не была бы им прочитана. У Владимира Оскаровича была твёрдая и ясная цель: поступление в Академию Генштаба и военная карьера. Ни о какой иной он и не помышлял никогда. Военная стезя была традиционной в семье Каппеля. Отец его, московский дворянин, находясь в отряде генерала Скобелева, участвовал во взятии укрепленной крепости текинцев Геок-Тепе. Эта операция носила крайне важный характер для обеспечения интересов Российской Империи в Средней Азии и овладении Туркестаном. За подвиг при взятии этой твердыни Оскар Павлович был удостоен ордена Святого Георгия. Не менее достойным примером был и дед по матери – герой севастопольской обороны и георгиевский кавалер. Сколько слышано было в детские годы о славных страницах русской военной истории, сквозной линией прошедшей через судьбы предков! Их доблести достоин должен был стать Владимир Оскарович. Он воспитан был в традициях старых: в верности вере Православной и Государю, в преклонении перед родной историей, в любви ко всему русскому. Верность этим традициям среди молодых офицеров в ту пору не столь уж частой была. Дух свободомыслия проник и в военную среду. И по родному полку явственно подмечал это Каппель. Пермское сидение изрядно успело наскучить ему. Мечталось о деле настоящем, а не о ловле скрывающегося по лесам бандита, которого скорее бы изловить да с тем и перебраться на новое место! Но один единственный вечер

изменил настроение в корне. На уездный бал гусары приехали весёлой ватагой – хоть какое-то разнообразие среди серых будней! Да и с барышнями, бдительными родителями за семью замками спрятанными, полюбезничать – счастливый случай!

На этом балу и увидел Владимир Оскарович Ольгу. Ещё и осмотреться не успел порядочно, а уж выделил её и больше ни на кого не смотрел. Стройная, с осанкой горделивой, с лицом продолговатым, интеллигентным, она не похожа была на провинциалку, и на пустую кокетку, каких немало было кругом. В её глазах, временами скрывааемых крупными веками с длинными ресницами, сквозило нечто мудрое, глубокое. Ольга о чём-то говорила с подругами. Те щебетали наперебой, смеялись, а она отвечала изредка, улыбалась приглушённо. Не ожидая пока кто-нибудь опередит его, Каппель пригласил красавицу на танец. Легки и плавны были движения её, нежны черты тонкого, совсем юного лица. Так во весь вечер никому и не уступил её ни на один танец. А под конец вечера понял, что и во всю жизнь не хочет отпускать.

Но предупредила Ольга, когда кружили среди других пар в вальсе, что родители её – люди строгие, и не позволят ей видаться с гусарским поручиком. Грешно было обманывать стариков, но что поделать? Если даже на порог не пускают, не беря на себя труда хотя бы узнать, что за человек любит их дочь и любим ею, то остаётся идти на обман. И Ольга пошла. Они встречались тайком, встречи эти были кратки, но сколько блаженства в них было! Да в одном только мгновении! В том, чтобы увидеть её! Поймать полный нежности взгляд! Руки её – целовать!.. А ещё были письма. Их передавала горничная Ольги. Ей, расторопной, щедро, правда, платить приходилось, но и больше бы несравненно дал за весточку.

Так вся осень прошла. От письма к письму, от встречи мимолётной до встречи... И какая же удача была, что негодяй Лбов так ловко скрывался – никак не могли изловить его. Банду разгромили, а вожак с небольшой кучкой людей где-то прятался ещё. Одолжил изрядно, а то бы пришлось покидать Пермь, родной ставшую. И как тогда бы с Ольгой связь поддерживать? И как – не видеть её? Даже мельком?

Требовалось решать что-то. Не сегодня, так завтра должны были перевести полк. И не мог дольше длиться эпистолярный роман. Уже хорошо успел узнать Владимир Оскарович избранницу. На редкость схожи были с ней. И характером, и мыслями. И потому прямо написал ей, что желает венчаться с ней, для чего готов, если требуется, тайно увезти её из родительского дома, если только она на то согласна.

Ольга согласна была. А тут и случай представился счастливый: Стрельман был вызван в управление завода в Петербург. Родители уехали, оставив дочь на попечение своего хорошего знакомого, старика-инженера, который переселился в дом Стрельманов. Всё дальнейшее сильно напоминало пушкинскую «Метель». Зимняя звёздная ночь, летящие по снежному насту, взметая серебристую пыль сани, маленькая деревянная церковь, где ожидали священник и ближайшие друзья-офицеры... Ольга бледна была, но никаких сомнений не испытывала, и счастливо светились её глаза. Обвенчались тайно и поутру отбыли в Петербург. Там сперва познакомил Владимир Оскарович жену с матерью, которая до слёз рада была им. Сложнее было примириться со стариками Стрельманами. Принять дочь и зятя они отказались, но позже всё-таки простили, узнав, что «вертопрах и мот» принят в Академию и проходит там курс. К тому и рождение внучки умилило.

Шесть лет безмятежного счастья, отпущенные судьбой, пролетели скоро. А потом началась война. Она, впрочем, Каппелем была радостно встречена. Казалось, что надвигается нечто великое, небывалое – может быть, последняя великая война, для которой ведь и пошёл по военной стезе. Было что-то бодрящее и освежающее в грозные летние дни Четырнадцатого! Уехал на фронт в душевном подъёме. Правда, тревожился несколько за Ольгу: оставлял её беременной. Она мудрое решение приняла: перебралась на время к родителям. Там уж точно спокойно ей будет, позаботятся.

Можно ли было предположить тогда, что туда, в тихую гавань придёт беда? Не успел Владимир Оскарович в Восемнадцатом добраться до родных, Ольгу после долгой разлуки обнять: задержал долг в Самаре. А пока там с отрядом своим «товарищей» бил, они в его дом пришли. Захватили Ольгу. И детей. И стариков Стрельманов. Держал их командующий Пермским фронтом Мрачковский при штабе под неусыпным надзором. Когда отважный Пепеляев совершил свой славный рейд и освободил Пермь, то его офицеры Стрельманов и детей вызволили, а Ольгу не успели... Её в качестве заложницы увезли в Москву... Душа обрывалась при мысли, что могло стать с ней.

В дни кровопролитных боёв на Урале пытались воспользоваться красные козырем: если, – передали, – генерал Каппель ослабит свои удары, то жена его может быть освобождена. Словно сердце из груди вынули и на наковальню швырнули. Как-то застонешь? Неужто женой, красавицей, любимой своей, матерью детей своих пожертвуешь? Предашь её на муки и глумление? На позор и смерть?

А дорого ли стоило слово красных? С ними ли переговоры вести? Садись за стол с шулерами! А, может, и в живых уже... Не додумывал до конца страшной мысли. Но переговоров никаких быть не могло. Сам вверялся Владимир Оскарович Божией воле, и Ольгу – вверял. Всегда и она уповала на неё. И как ни разрывалось сердце, а отчеканил твёрдо:

– Расстреляйте жену, ибо она, как и я, считает для себя величайшей наградой на земле от Бога – это умереть за Родину. А вас я как бил, так и буду бить!

Верил Каппель, что Ольга поддержала бы его, как и всегда поддерживала душой понимающей.

С той поры не было никаких известий от неё. Если бы жива... Если бы сотворил Бог такое чудо... Старался не думать об этом. Весь в работу ушёл, даже на сон себе считанные часы оставляя: так и легче было.

Когда осели в Кургане, перевёз детей и стариков туда. Сам со штабом на первом этаже разместился, они – на втором. Таничке уже десятый год шёл, она отца хорошо помнила, а Петруша и не знал. Каппель раз и видел его, когда в отпуск с войны приезжал. А теперь уж четвёртый годок шёл ему. Дети горевали о матери. Особенно, Таничка. А пуще их – старики. И тяжело было Владимиру Оскаровичу взглядом с ними встречаться. Похитил их дочь, женился без благословения и не смог уберечь. Чувствовал себя отныне и навсегда виновным перед ними. И перед детьми – тоже. Ведь если бы не остался в Самаре тогда, а к ним поехал, то, может, иначе бы сложилось? Но не мог не остаться. Он был армии нужен. России нужен. А Россия, долг перед ней выше всего стояли для Владимира Оскаровича. Поступи он иначе тогда, и хуже бы не простил себе. Иначе нельзя было. А всё-таки – виноват... И тяжело было. И оттого ещё, а не только от занятости, так редко на второй этаж поднимался. Там – лишь с Петрушей повозиться отрада была. Он, несмышлёныш, ещё мало понимал и так искренне радовался отцу...

А теперь, вот, новая беда. Фронт откатывался. От Челябинска до Кургана – совсем близко уже. И среди служебных забот надо было побеспокоиться об эвакуации семьи...

Глубокая ночь стояла. Владимир Оскарович достал лист бумаги, стал набрасывать письмо своим. Когда писал им в последний раз? Не мог вспомнить. Написал коротко тестю, и тут адъютант, как неизбежность, на пороге возник:

– Ваше превосходительство, красные перешли в наступление! Из штаба армии передали приказ об отступлении...

И зачем, спрашивается, такие жертвы сегодня были? Провалилась очередная авантюра Ставки. На что они там надеялись? Играли, как зарвавшиеся игроки, швыряясь чужими жизнями...

Письмо опять комкать приходилось. Наспех приписку сделал – Таничке и Петруше. Поцеловал мысленно. Быстро запечатал и поспешил на позиции. Спать этой сырой, беззвёздной ночью опять не суждено было.

Глава 3. Девятый день

14 августа 1919 года. Москва

Лето выдалось небывалое в этом году, такое, какого и не припомнить, чтобы было подобное. Лил и лил, не прекращаясь, дождь, редкие и краткие дая передышки. Откуда воды столько взялось – непонятно. А сегодня прекратился. Зато поутру всего лишь пять градусов тепла было. Октябрь! Как есть октябрь! И в церковь пошла Ольга Романовна в тёплом пальто и сапогах: кого теперь удивишь таким экстравагантным видом? Даже перчаток с дырочками на кончиках пальцев от долгой носки уже стесняться не приходилось. К заутрене отправилась одна. Хотела Надя Олицкая пойти тоже, но занедужила ногами. Да и не хотелось Ольге Романовне, чтобы кто-то рядом был в это утро... В церкви укрылась в тёмном углу, опустила на колени, не пожалев старых ног и не убоившись, что трудно потом будет встать. Не так часто бывала на службах прежде. Лишь по заведённому: в воскресенье. А в будние недосуг как будто было. А сейчас день будний стоял. Народу в церкви совсем мало было. И даже удивительно. В годину чёрную народу православному где и быть, как не в церкви? Как не очнуться от прежнего маловерия и не броситься спасаться в храмы? А не вот бросались... Большой частью, старики и старухи к заутрене пришли. Но и не только. Вон – в шинели без погон, однорукый – по стати не спутаешь: офицер бывший. Вон – бывшая барышня в платьице тёмном, в разбитых башмачках венгерских поддерживает под руку слепого старика. Лицо у неё измождённое, запредельно усталое, а в глазах печальных слёзы стоят. Неподальёку монашка. Очень русское лицо, глаза васильковые долу опущены, а иногда поднимаются со взлётом длинных ресниц – икона! За колонной какая-то женщина, с колен не подымающаяся, поклоны бьёт. Смуглая, темноокая. И в глазах – пламя. Будто безумие лёгкое. Две старушки у стены на лавочке примостились. А вблизи другая, помоложе, побойчее – с внуком белокурым, которого своим, видать, платком укутала. И ещё господин средних лет, из чиновников, вероятно, бывших – одиноко стоял и крестился не в такт, кажется, своим мыслям отдался, службы и не слышал. И знакомую фигуру поодаль заметила Ольга Романовна. Пожилой, исхудалый человек, с лицом аскетическим, высветленным – словно уже не лицо это было, а лик. Васнецов собственной персоной. Не близко знали, а бывал Василий Михайлович не раз у покойного мужа Ольги Романовны, и на выставках встречались. Господи, как же давно было!..

Чудна была церковь в этот час. В ней словно уцелевшая Россия собралась. Мало уцелевших оказалось, но ни одного случайного. Наверное, так и быть должно? Предсказано же, что в последние времена верных лишь горсть останется... Уцелевшая Россия... Или бывшие люди бывшей России?

Густо басил полный протодьякон. Не Розов то был, конечно (с Розовым никто не сравнится!), но хорош. И старенький батюшка подстать. Древний совсем, и заметно было, что тяжело и стоять ему, и говорить, но вёл службу, и напрягая голос, громко и твёрдо каждую фразу произносил, и можно было догадываться, с какой силой звучал этот голос прежде.

Шла своим чередом служба в полутёмной церкви, тускло освещённой пучками тоненьких свеч (уполномоченный из бывших священников, рясу сбросивший, теперь заявлял, что нужно не давать церкви свечей, поскольку их сознательному пролетариату не хватает), и сумрачно было на сердце у Ольги Романовны. Боли утраты не было, но пригнетала непереносимым грузом неискупимая вина...

Всё началось месяц назад. В тот июльский вечер она возникла на пороге обличающей тенью. Неузнаваемая. Больная. Страшная. Лицо её посеревшее, высохшее, покрытое испари-

ной дышало всегдашним гневом, рыжие волосы, тронутые ранней сединой, сваялись и выглядели очень неухоженными, зеленоватые глаза блестели фосфорическим блеском. Она в лихорадке была. Ото рта не отнимала окровавленный платок. Переступив порог, придерживаясь о стену, прохрипела натужно, давя кашель:

– Что, не ждала? – усмехнулась. – И не рада? – посмотрела недобро. – Да ты не беспокойся. Долго не загощусь! Я, как всегда – проездом! Только, вот, на этот раз не знаю, куда...

Ольга Романовна смотрела на дочь с немим ужасом. Неужели она это?.. Её Лидинька?.. Красавица и насмешница?.. Ничего не осталось от неё. Только тень. И злая эта тень пришла теперь в родной дом. Пришла, – догадалась, сердцем дрогнув, – умереть...

Лидинька огляделась, заметила желчно:

– А ещё, смотрю, не всё вы распродали! Скажи-ка! Недурно живёте, недурно... А этот где? Муж твой?

– Пётр Андреевич уехал.

– Жив, стало быть... Гасильник... Ищейка полицейская... – погрозила кулаком в пустоту. – Что ж, чёрт с ним. Хорошо, что здесь его нет. Для него – хорошо... А то бы... – не смогла договорить, закашлялась надрывно, согнулась – словно нутро выворачивало.

А в этот момент Надя с Илюшей пришли. Они на Сухаревку ходили торговать. И, вот, вернулись – не с пустыми руками. На деньги, вырученные от продажи домашнего скарба, какой-то снеди купили. Остановились на пороге, с удивлением глядя на нежданную гостью. Никогда не видели её прежде и узнать не могли. Лидинька чуть разогнулась, посмотрела слезящимися глазами на Илюшу, потом на мать. Что-то сообразила Надя, всегда большой чуткостью отличавшаяся, взяла мальчика за руку, потянула за собой на кухню:

– Идём, радость моя, поможешь мне управиться...

Лидинька так и не сказала ничего, захрипела только. И тут только до Ольги Романовны дошло, что дочери худо так, что она уже сама и шагу не в силах ступить. Подошла к ней, подставила плечо, повела в комнату, которую прежде Пётр занимал. Лидинька не противилась – едва в сознании была. Уложила её Ольга Романовна в постель, укрыла тёплым одеялом, смотрела сквозь слёзы. Несчастную била лихорадка, глаза её, потонувшие в чёрных обочьях, блуждали.

– Врач тебе нужен, – сказала Ольга Романовна.

– Не надо... – прошелестела дочь в ответ. – Уйди... Уйди, оставь меня... Уйди!

Ольга Романовна покорно вышла, плотно притворив дверь, прошла на кухню. Илюши, по счастью, там не оказалось, и он не видел сметённого лица бабки. Только Надя увидела. Она, всё ещё дородная, несмотря на голодную жизнь, сновала у плиты, готовя что-то к ужину. Говорила сердито, ни к кому не обращаясь:

– До чего дожили, батюшки святы! До войны сахар пятнадцать копеек стоил, а теперь двести двадцать рублей! За хлеб уже пятьдесят просят! А мука? Мука по семь копеек была... Пятнадцать рублей за спички! Спичек нет, керосина нет... Слава Богу, лето! А зима придёт, пропадать опять? Опять свет на несколько часов подавать будут – и как хочешь... Что ж это делается-то такое...

Это Надеждино ворчанье теперь каждый день слышалось. И чудно было: купеческая дочь, княжеская жена, в богатстве и неге всю жизнь пожившая – а говорила, словно кухарка в стародавние времена. И цены знала, и даже довоенные. Их сама не вспомнила бы, а, зная, делились с нею помнившие, с которыми бок о бок на Сухаревке распродавала остатки имущества. Там и не догадывался никто, что Надежда Арсеньевна, с её простой внешностью и бесхитростным разговором – княгиня. Она и сама себя таковой никогда не ощущала, а навсегда осталась купеческой дочерью и даже провинциалкой. И потому легко ей оказалось находить общий язык с сухаревскими торговцами и торговками, среди которых, впрочем, тоже встречались титулованные особы.

– Яиц купить блазило. Да куда там! Полторы «косых», как они теперь выражаются. Пойми, что это сторублёвые... «Косые»! Почему «косые»? Непонятно...

Ольга Романовна вошла в кухню, опустила на стул. Надя тотчас оставила стряпню и всей плотной фигурой подалась к ней:

– Олинька, что? Кто эта женщина?

– Это Лида...

– Кто? – не поняла даже.

– Это моя дочь... – чуть слышно произнесла Ольга Романовна. – Она вернулась...

Ахнула Надя, о передник пухлыми руками прихлопнула. Историю Лидиньки, разумеется, знала она. Искала, что сказать, чем подругу утешить. Обняла за худые плечи:

– Олинька, так и что? И не горюй! Вернулась – и слава Богу! Только очень уж больная... Надо, чтобы доктор посмотрел. А он, наверное, раньше утра не придёт. У него дежурство...

– Доктор не поможет, Надин, – по старой привычке Ольга Романовна называла подругу на французский манер. – Это чахотка. Последняя стадия... – помолчав, сменила тему: – Опять вы с Илюшей на Сухаревку одни ходили? Ведь я просила не ходить. Кругом же воров несчётное число. Как ни усердствует Тимоша, а полная Москва их. Сам же и говорил. А ты опять?

– Олинька, душечка моя, а что же ты мне прикажешь? – Надя виновато улыбнулась. – Денежку выручать надо? Надо. Продавать вещи надо? Надо. Поесть купить надо? Надо.

– Надо, чтобы кто-то из мужчин был рядом.

– Да кого ж просить? – Надя потупилась. – Володя слишком раздражается от подобных дел. Я не хочу, чтобы он со мной ходил. Ему вредно это... Всё-таки он не привык... Он князь, музыкант... Довольно того, что ему приходится служить в какой-то их конторе. Доктор и Тимоша сутками на службе – им не до того. Кого ж просить? Юрия Сергеевича? – рассмеялась. – Его самого защищать надо! Ты не волнуйся, Олинька. Мы с Илюшей очень осторожны. Ничего с нами не случится. Ну, а если вдруг... Ведь говорил же Тимоша: «Если вас ещё не ограбили, это не ваша заслуга. Просто грабителям на всех не разорваться». Чему быть, того не миновать!

Хлопнула входная дверь, и тотчас квартиру огласил высокий баритон Олицкого:

– Чёрт знает что! – и входя в кухню. – Это переходит всякие границы, наконец! Мало того, что за малейшее опоздание на службу эти обезьяны грозят карцером, так ещё и извольте по окончании трудового дня слушать лекцию какого-нибудь идиота о положении дел в Совдепии! Тьфу! А положение-то, положение! Керосина нет! Муки нет! Молока и мяса нет! Мыла нет! Спичек – на пятую часть населения хватит, – чиркнул спичкой, закурил вне себя от раздражения. – Соли нет! Картофеля нет! Ничего нет! Страна-голодранец! Умница Гольдштейн в «Новом слове» написал: «Во что превратилась наша жизнь? В каторгу. Каторга – в господствующее сословие. Война – в мир. Мир – в войну. Законы – в декреты. Суды – в самосуды. А от Великой России остались приятные воспоминания!» Ей-Богу, всего лучше для нас было бы, если б господа союзники взяли наш бедлам, бывший когда-то Россией, под опеку... Хоть порядок бы был! Но и они не торопятся. И хочется, и страшно такой грандиозный хаос под опеку брать – как бы самих не поглотил. Вильгельма-то и поглотил! Дорого пришлось кайзеру платить за поддержку наших мерзавцев! Теперь они и у него заправляют. И поделом!

– Володинька, успокойся и говори, пожалуйста, чуточку тише, – попросила Надя. – У нас тут кое-что произошло...

– Что ещё? – спросил князь, делая внушительное ударение на последнем слог.

– Лида вернулась, – ответила Ольга Романовна. – Моя дочь здесь.

– Кто-о?! Что-о?! – Олицкий вскочил со стула, на который было сел, словно ошпаренный, смотрел выкатившимися от изумления глазами. – И вы пустили её на порог? – спохватился: – Ах да, вы же не могли не пустить... Она же у вас – член РСДРП! Тьфу!

– Владимир Владимирович, я не могла её не пустить потому, что она – моя дочь, и это – её дом, – строго ответила Ольга Романовна.

Олицкий посмотрел на неё с явным недоумением, передёрнул плечами:

– Что ж, может, к лучшему... Сегодня обезьяны из домкома опять намекали, что нас здесь мало живёт, и пора нас уплотнять. Хотя дочь ваша, Ольга Романовна, уж простите, почище домкома оказаться может. Да, скверно, скверно. Принесла нелёгкая...

– Володя! – Надя укоризненно покачала головой.

Князь махнул рукой, провёл ладонью по гладкому, как бильярдный шар черепу:

– Что ни день, то новости! У меня для вас тоже есть одна. Сегодня я был последний раз в этой богомерзкой конторе.

– Почему? – сплеснула руками Надя.

– Потому, ма шер, что я не желаю больше подчиняться хамам, не желаю писать их гнусные бумажки в их гнусной орфографии! Меня коробит их варварская грамматика! Я без ятей, если угодно, писать не могу! Есть ли хоть что-то, над чем бы не поругались эти подлецы первого разряда? Языка и то не пожалели! Теперь у нас «её» вместо «ея», «они» вместо «оне»... Подумали бы хотя бы, как будут читаться великие наши поэты после этого? «Исторглись из груди её – И новый мир увидел я»? «Пускай в душевной глубине – и всходят и зайдут они?» Бред! Бред! Бред! И сколько сразу возникло слов, одинаковых по написанию! Один чёрт и разумеет, о чём речь идёт! Некогда – теперь и «давным-давно» и «недосуг». Существительное от глаголов вести и ведать – одинаковое! И как разобрать, о чём речь? Путаница совершенная! А «лечу»? Это об лечении или о полёте понимать? Да что говорить! Одно слово: тьфу! Почему бы тогда уже просто не отменить всяких норм и правил языка? Пусть себе валяет каждый в меру собственной малограмотности! Принять декрет об отмене всякой орфографии вкупе с пунктуацией!

– Успокойся, Володинька. Скажи лучше, что же теперь ты будешь делать? Ведь у нас и продать ничего не осталось... Ты мог бы играть где-нибудь...

– Ни за что! – вспыхнул Олицкий. – Я не собираюсь тешить своим искусством торжествующего хама! Между прочим, большинство наших знакомых уже уехали за границу, как благоразумные люди...

– Милый князь, уж не собираетесь ли и вы бежать? – послышался тихий, влажный голос Миловидова.

Никто и не услышал, как он вошёл. За год, миновавший с его болезни, профессор ещё сильнее исхудал и казался почти бесплотным – подует ветер и унесёт. Родной его пиджак, поношенный, но ещё приличный, стал ему изрядно велик, и это странно было: ведь и всегда худ был Юрий Сергеевич. И окончательно побелели волосы. Они походили теперь на шапку одуванчика. Всегда словно несколько дыбом стоявшие, мягкие, как пух – дунет ветер и сорвёт. А в глазах Миловидова, постоянно слезящихся последнее время, будто был он глубоким стариком, угнездилась безысходная печаль. По временам голова его и руки нервически дрожали. А всё-таки продолжал он, неуёмная душа, трудиться, как пчела. Зачисленный в штат наркомпроса, пытался с другими энтузиастами спасти от уничтожения, сберечь исторические и художественные реликвии, читал публичные лекции в самых разных собраниях.

– А почему бы и нет? – Олицкий бросил в пепельницу докуренную сигарету. – В конце концов, я должен работать. А здесь я работать не могу! Морально не могу, понимаете?! За два года я не создал ни одной музыкально композиции. Мне начинает казаться, что я ни к чему больше не способен...

– Что же, в Европе вас, должно быть, примут с распростёртыми объятиями... У вас будет ангажемент, гастроль, тёплый дом с садом... – Миловидов оперся о подоконник, глядя в сумрак клонящегося к концу дождливого дня.

– Вы бы тоже не остались там без дела, – заметил князь. – С вашими трудами! Вашими знаниями!

Такая мысль профессору показалась невероятной. Он удивлённо взглянул на Олицкого, слабо улыбнулся:

– Нет-нет... Этого не будет...

– Да почему?!

– Я никогда не смогу там жить. Я там умру. Вот и всё.

– Кто говорит – жить? Временно погостить и только. Переждать непогоду.

– Князь, нет ничего более постоянного, чем временное.

– Не думаете же вы, что большевики будут вечно? Вот это уж, действительно, невозможно! Большие бури проходят быстро.

– Она уже быстро не прошла, вы не находите?

– Пройдёт, милый профессор, непременно пройдёт!

– Дай Бог... Но я не хочу думать о завтрашнем.

– Напрасно! Вбили себе в голову глупую мысль... С чего вы там умрёте? А здесь? Вы, учёный с мировым именем, таете от голода и лишений, вынуждены ходить на поклон к хамам, захватившим власть. Сколько раз вы лишались чувств во время ваших лекций, которые из всех присутствующих слушали от силы два-три человека, а остальные зевали, причём неприкрыто?!

– Если даже два-три человека слушали меня, услышали, и я смог достучаться до них, то мои усилия не были напрасны, и я опять буду читать – даже для двух человек.

– Вы падали в обморок от истощения, и никто не потрудился даже подать вам воды! Юрий Сергеевич, вы же убиваете себя! Вы на глазах угасаете!

Миловидов достал платок, утёр глаза, вздохнул:

– Дорогой князь, я благодарен вам за заботу, но вы не понимаете... Оставаясь здесь, я могу спасти хоть что-то... Хоть толику реликвий спасти из пламени и сохранить их для будущих поколений. Это сродни всей прежней моей работе, а, может быть, и важнее её. Может, это и есть – главное дело моей жизни. Здесь я угасну, но хоть с какой-то пользой, а там умру безо всякой. Нет, Владимир Владимирович, я никуда не поеду, я хочу умереть в России. А вы поезжайте, пожалуйста. Вам там, действительно, лучше будет. И вы сможете больше пользы там принести, потому что там сможете творить.

– Нет, мы тоже не поедem, – вдруг твёрдо сказала Надя. Никогда она так твёрдо не высказывалась, оставаясь всю жизнь лишь тенью своего мужа. А тут прорезалось: – Как же мы можем ехать? Как мы оставим Олинку? Мы обещали Петру Андреевичу заботиться о ней. И к тому же зло не может продолжаться вечно! Всё это скоро закончится, и мы должны быть стойкими и дожидаться этого. Володя, ведь правда?

– Да-да, конечно... – пробормотал князь и пошёл в свою комнату. Надя последовала за ним.

Юрий Сергеевич в отличие от Олицкого новость о возвращении Лидиньки воспринял спокойно. Он хорошо помнил её ещё девочкой и искренне жалел своим сострадательным, чувствительным сердцем.

– Я очень рад, Ольга Романовна, что ваша дочь жива. Наверное, она сейчас будет нуждаться в уходе. Понадобятся лекарства. Доктор осмотрит ей, скажет, что делать. Хорошо, что наш доктор из сочувствующих... Он не вызовет её гнева. И она не будет ему казаться врагом, как, например, князю. Вы пойдите к ней сейчас сами. Пойдите.

Ольга Романовна благодарно посмотрела на Миловидова. Конечно, нужно было к Лидиньке идти. А она – словно нарочно оттягивала, страшась дочери. Теперь заварила чаю, подумав, достала прибранную ещё с прошлого года баночку клубничного варенья. Прошлым летом большой урожай клубники выдался, а потому цены, хоть и дороги тоже, но сравнительно божескими оказались. Закупили побольше, и Надя варенье сварила, вспомнив, как это ещё

мать её делала. Правда, потом месяца три сахара не видели, но зато в течение года бывало на столе лакомство. Последняя эта баночка береглась. И, вот, решила Ольга Романовна открыть её, вспомнив, что дочь в детстве это варенье обожала. Положила в розетку и с чаем понесла Лидиньке.

Лидинька так и лежала, как оставила её. И бесконечно жалко её стало. Какой цветущей могла бы она быть сейчас! Какой могла бы быть её жизни! И вот... Поставила чай, всхлинула – не удержалась. И тотчас хриплый голос бросил:

– Не смей реветь! Как будто бы и впрямь тебе меня жалко ...

– А как же иначе? Ведь ты же моя дочь...

– Вспомнила! – в голосе Лидиньки послышались истерические ноты. – Давно?! Мама, мама... Как же я тебя ненавижу! – она села, обхватила руками голову. – Если бы ты только знала, как!

Ольга Романовна стояла на месте, как пригвождённая, не смея приблизиться, обнять, сказать что-то.

– А ведь когда-то так любила... Мама, ты знаешь, как я тебя любила? В детстве ты была моим кумиром, идеалом. А ты всё время уезжала то в театр, то на выставку, то в гости. А я сидела и тосковала. Я никогда не засыпала, не дождавшись тебя, – Лидинька рассмеялась, закашлялась. – Дура! Я ведь ни одного наказания не боялась, а только твоего укоризненного, а, ещё хуже, огорчённого взгляда! А ты всегда мне давала понять, что я не такая, какой должна быть. И держаться не умею, и разговариваю не так, и учусь плохо... И я боялась сделать что-то не так и от страха обязательно делала! Мне так хотелось, чтобы ты мной гордилась... Для меня лицо твоё кошмаром стало! Самым страшным сном! Твоё укоряющее лицо! Выразительно укоряющее, как ты умела! И до сих пор!.. А потом я поняла, что это не я такая плохая, а просто ты не любишь меня...

– Неправда! Я всегда тебя любила!

– Никогда! Ты только Петиньку любила. Только он для тебя свет в окошке был! А я... Кстати, что он теперь? Жив?

– Надеюсь. По слухам он сейчас в Сибири.

– У Колчака, значит... Хорош братец... Одному кровопийце служил, теперь другому... Вечный раб! Пёс! Но чёрт с ним... Я ему зла никогда не желала, хоть он и ненавидит меня.

– Что ты говоришь, Лида? Петя всегда тебя любил, всегда переживал...

– Да не за меня он переживал! За честь семьи, будь она проклята! За свою офицерскую честь! А на меня вам всем всегда наплевать было! Даже отцу! Потому что для него только его поэты и художники существовали... А ты знаешь, как это тяжело, когда тебя не любят?! Это хуже сиротства! Зачем нужна семья, если ты в ней чужая?.. Вот я и ушла... В другую семью! К чёрту... – эта речь утомила Лидиньку. Задышавшись, она откинулась на подушки.

– Лида, выпей чаю, пока он горячий.

Лидинька взглянула на варенье, затем подняла глаза на мать, долго смотрела на неё, затем выпила чай с вареньем и, снова улёгшись, сказала уже спокойнее:

– Надо же... Ты не забыла моих вкусов...

– Я ничего не забыла.

– Приятно слышать, но больше не приноси мне его. Оставь сыну... Ты, небось, ничего и не рассказывала ему обо мне? Даже фотографий не показывала?

– Почему ты решила?

– Он меня даже не узнал...

Ольга Романовна молча принесла дочери старую фотографию, где она была запечатлена прелестной шестнадцатилетней девушкой, и небольшое зеркало:

– А ты – узнала бы себя?

Лидинька сглотнула слёзы, закусила губу:

– Что ж поделаешь, мама, тюрьма и Сибирь никого не красит. Эта проклятая чахотка оттуда. Это ваш царь, ваша охранка со мной сделали! Смотри! Смотри, какая я стала!

– Разве царь и охранка заставили тебя избрать такой путь?

Лидинька нахмурилась:

– А я, мама, не могла смотреть на то, как угнетается народ! Я не могла, как некоторые, удовлетворяться роскошью, когда бедствовали другие! Я боролась за справедливость! Мы боролись! И мы победили! Помнишь, я говорила тебе, что однажды мы победим? Вот, мы победили! Видишь?! – в голосе дочери звучало торжество.

– Я вижу, Лида. Вижу – анатомические театры, а в них тела убитых в затылок без суда и следствия. Вижу переполненные тюрьмы, которые вы собирались сравнять с землёй. Вижу невиданную нищету и разруху. Вижу грязь, из-за которой даже по центральным улицам стало небезопасно ходить. На днях мы с Илюшей по брошенному кем-то в лужу картону на цыпочках обходили лежавший посреди дороги труп лошади. Голодные люди отрезали от него куски и уносили! И кто-то бросил: «Жалкие остатки России». Это и есть обещанный вами рай?

– Зато теперь вы, жившие в роскоши, поняли, что такое нищета, что такое не иметь крохи во рту... Теперь все стали равны! Теперь нет ни богатых, ни бедных! И это справедливо!

– Лида, смерть – вот, единственное, что равняет людей. Вы смерть сделали средой обитания. Вы строили рай? В раю люди – небожители. Люди уравненные, лишённые званий, имён, записанные под номерами – это не небожители, а арестанты земли. Вы обещали свободу и братство, а построили острог в размере всей России, где все друг друга ненавидят, и Каин торжествует. Вы ничего и никого не любите, а без любви можно построить только ад!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.